

[Polaris]

С. МИНЦЛОВ



ЧЕРНОКНИЖНИК

Собрание рассказов
Том II

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXXVIII



Salamandra P.V.V.

Сергей
МИНЦЛОВ

ЧЕРНОКНИЖНИК

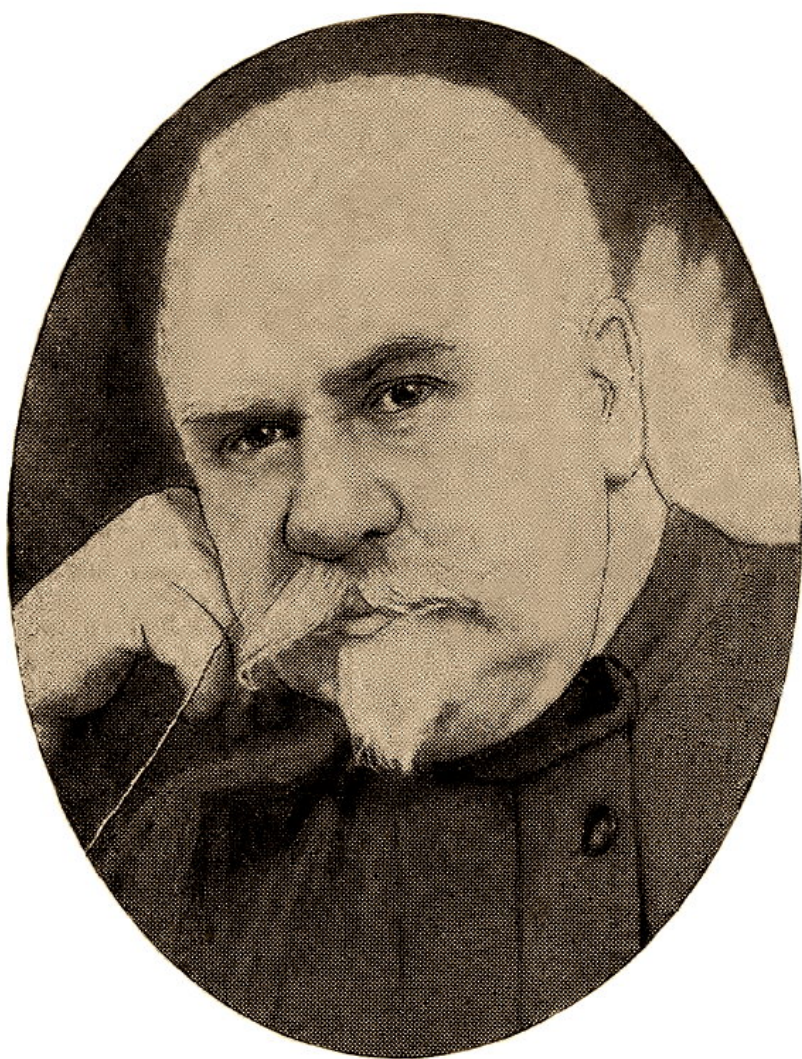
Собрание рассказов
Том II

Salamandra P.V.V.

Минцлов С. Р.

Чернокнижник (Собрание рассказов, т. II). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 210 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CXXVIII).

В книгу вошли избранные фантастические и мистические рассказы и путевые очерки выдающегося библиофила и библиографа, занимательного рассказчика и одаренного прозаика, журналиста и путешественника, археолога и коллекционера С. Р. Минцлова (1870-1933). Включены рассказы и очерки из сборников «Неведомое», «Чернокнижник (Таинственное)», «Святые озера», «Свистопуп» и «У камелька», а также из периодических изданий. В приложениях – две рецензии видного критика П. Пильского и биографические материалы. Подавляющее большинство вошедших в книгу произведений переиздается впервые.



ТАЙНА

ТАЙНА

(Этюд)

Был особенно душный день.

Все, что мог охватить взгляд — небо, море, берег — все пламенело. Буро-синяя высь сквозила огнем, как свод беспредельного горна; море, брызги которого — бирюза и изумруды, теперь не шелохнулось и, необъятной бездной расплавленной стали, плотно прильнуло к словно раскаленной добела отмели однообразно-низкого берега. Все жгло и слепило и только в заливе на самой середине берегового излучья нежданно отдыхал глаз: из-за песчаных холмов, сквозь узорную зелень садов, белели дома радостной улыбки пустыни — Александрии.

Ни лодки, ни корабля не виднелось на нестерпимо блестящей глади моря; город казался вымершим, так пустынно было на улицах и даже в кружевной тени у фонтанов, звеневших под пальмами среди тишины, как серебро монет, бросаемых на мрамор.

Над самым морем, в саду крошки-виллы, закрытой веерами пальм, сидел на каменной скамье под густым платаном человек, погруженный в чтение свитка папируса. Легкая греческая одежда, прямые линии овального лица и длинные волосы, перехваченные змеевидным обручем, обличали в нем грека.

Возле него, в глиняных мисочках, помещались краски, заменявшие чернила; он изредка опускал в них тонкую кисточку и исправлял написанное.

«Нищих всегда имеее с собой, а Меня не всегда имеее. Возлив миро это на тело Мое, она приготовила Меня к погребению...» — прочитал он и, опустив папирус, прислонился спиной к бугроватому стволу платана и закрыл глаза; складки на лбу, между бровями его, углубились: он припоминал что-то.

— Да, так! — подумал он и в то же время ему почуди-

лось, что справа, неподалеку от него, кто-то другой вполголоса повторил мысль его.

Он открыл недоумевающие глаза и медленно повернул лицо в ту сторону.

У невысокой ограды, сложенной из неровного, дикого плитняка, стояла старуха, навалясь на нее грудью и широко расставив темные палки рук, точно огромная птица, готовящаяся лететь с земли; над костлявыми плечами подымалась обутленная солнцем голова, окутанная не то тюрбаном, не то клоком некогда полосатой, желтой с белым одежды. Черные от грязи лохмотья скорей обнажали, чем покрывали тело ее.

— Так, так... — повторила старуха, не сводя впалых глаз — истомленных, но хищных — с сидевшего.

Первое, неприятное впечатление быстро сошло с лица грека.

— Зайди, отдохни... — приветливо сказал он. — Ты изда- лека, должно быть, женщина?

— Всю жизнь иду я... — смутно разобрал он ответ и, когда старуха перелезла через ограду, босые ноги подтвердили слова ее: цвета земли, они, как сухая земля же, истрескались и были покрыты рубцами.

Грек встал и направился к открытой двери дома, но старуха угадала намерение его.

— Не надо ничего, — сказала она, садясь у скамьи на землю. — Я ела и пила у фонтана. Хорошая вода в звезде востока — Александрии!

Неприязнь, звучавшая в голосе ее, остановила грека.

— Ты сердись? — мягко спросил он. — Разве я обидел тебя? Если ты сыта, то все же у меня найдется, что предложить тебе!

И он сделал опять шаг к дому, но новые, еще более резко прозвучавшие слова заставили его вернуться.

— Я не возьму ничего, не трудись напрасно! Скажи, — добавила она, в упор глядя в глаза его, — ты справедливый Клавдий?

Грек слегка повел плечами и, не зная, что ответить на неожиданный вопрос, опустил на скамью против старухи.

— Так зовут меня люди... — как бы боясь, что услышат его другие, тихо отозвался он. — Но справедливых людей нет, справедлив только Бог.

— Здесь много, говорили мне, вас, Есеев...

— Ты хочешь сказать — христиан? — поправил Клавдий.

— Все равно. Вы — кровь от крови, плоть от плоти их!

Старуха говорила, точно рубила ножом. Нищая, отказывающаяся от подаяния, явление необычное и вопрос — кто она и откуда — стоял в мозгу Клавдия, но долг гостеприимства не допускал любопытства.

— Ты, кажется, не любишь христиан... — заметил Клавдий, свертывая рукопись. — За что?

Старуха глядела на него, тряся головой, и при вопросе Клавдия сцепила вокруг колен своих длинные руки, откинула голову и плечи назад и засмеялась; смеха слышно не было, только открытый рот и новые морщины, набежавшие снизу на сухие скулы, указывали, что она смеется. Не смеялись лишь глаза — жестокие и гордые, как у ястреба.

Шепот прошел в верхних ветвях платана. Клавдий поднял глаза и увидел, что листья над ним ожили и говорят друг с другом; лицо его ощутило свежесть: с моря дохнул ветер; оно расстилось уже приветливое, синее у берега и только у горизонта чернела над ним загадочная полоса. Оттуда показывала зубцы туча.

Клавдий взглянул на собеседницу: она как будто не чувствовала благодатной перемены в воздухе и видела только сверток папируса, сжатый рукой его.

— Ты, слышала я, пишешь об Иешуа?.. — еще отрывистее проговорила она.

— Об Иисусе Христе, да! — почти воскликнул Клавдий и по смуглым щекам его разлился румянец. Он весь оживился, как листва над ним от дыхания ветра, словно радостную новость сообщили ему.

— Вы, греки, все коверкаете, к чему прикоснетесь! — процедила старуха. — Его звали Иешуа и мать его была Мириам, жена плотника... Откуда ты знаешь о нем?

— Весь мир скоро будет знать о Нем! — восторженно сказал Клавдий. — Кто не слышал о Нем в Александрии?!

Мне рассказывали знавшие о Нем от апостола Матфея и теперь я записал дела и слова Его, чтоб не забыли и не утратили их люди. Вот этот свиток! — он потряс папирусом: — это будет книга апостола Матфея; слышишь, — добавил он, указывая рукой вверх, — даже деревья проснулись, когда мы заговорили о Нем!

— Так, так, так... — старуха слегка раскачивалась, глаза ее тоже стали разгораться и светиться на темном лице.

— Знаю, вы сделали теперь Иешуа Богом...

— Ты иудейка, женщина? — прервал ее Клавдий. — Ты говоришь по-гречески, как иудеи.

Старуха кивнула головой.

— Я из семьи Иуды. Не из колена Иуды, — пояснила она, видя недоумение Клавдия, — из семьи ученика Иешуа.

Сидевший Клавдий выпрямился, затем стремительно встал и шагнул к ней.

— Кто же ты?

— Я дочь Иуды, — гордо ответила старуха.

— Дочь предателя?!

— Да.

Клавдий подался вперед, хотел сказать что-то, но задохнулся, провел рукой по рту, взялся за лоб, потом опять за губы. Отвращение и страх изобразились на лице его.

— Да... — в волнении проговорил, наконец, он. — Вот что!.. Но ты не виновата, конечно, в этом... — добавил он, опомнившись и подходя к ней. — Да будет мир с тобой, бедная!.. Только все-таки не говори никому здесь, что ты дочь Иуды. Это имя ненавистно всем!

Старуха хлестнула себя рукой по колену и, в ответ на гневный порыв ее, что-то глухо пророкотало вдали. Деревья умолкли.

— Люди — собаки! — сказала старуха. — Они бросаются рвать, не разузнав ничего. Иешуа — ваш Бог... Ты веришь в своего Бога, грек? — вдруг спросила она, стиснув зубы и подымаясь.

— Верую и исповедую! — вдохновенно откликнулся Клавдий, простирая руку к небу. — Он истинный и единый Бог наш! Но ты, сама ты, видела Христа? Говорила с Ним? Рас-

скажи мне о Нем и отдам тебе последнее, все, что имею!!

То, о чем давно мечтал Клавдий, исполнилось: он встретил, наконец, человека, видевшего Христа.

Полные злобы слова застыли, не вылетев из рта старухи; тяжело дыша, она несколько времени молча жгла Клавдия углями глаз.

— Да видела их всех... расскажу! Но сперва прочитай, что написал ты.

— Хорошо... изволь... давай сядем здесь... — зааторопился Клавдий, усаживаясь на скамью; рядом с ним старуха не села и опять опустилась слегка поодаль на землю.

Подобие смерча из лепестков роз завертелось вблизи старухи; порыв ветра швырнул их затем в листву деревьев и чуть не вырвал свиток из рук Клавдия. Грек удержал его.

— Разве можно не верить в Него? — горячо сказал он. — Он — это любовь! Значит, ты не знаешь чудеса Его: то, что Он творил — никто не творил и не сотворит никогда.

И грек внятно прочел об излечении слуги центуриона, тещи Петра и бесноватых.

Солнце уже касалось моря; багровые лучи его, вырвавшись, как в окно, из разрыва свинцовой тучи, облегла почти все небо, словно кровью обливали перекошенное усмешкой лицо старухи; на казавшихся слепыми зрачках ее стояли мутно-красные блики; руки ее крепко сжимали острые кости колен; она покачивалась, будто все собираясь поклониться кому-то и не выполняя этого.

Что-то холодное налегло на сердце Клавдия от вида воплотившейся злобы.

— Чудес много творят волхвы Мицраима и Бабеля*, — бросила ответ старуха. — И еще больше лгут об этих чудесах глупцы!

Гул опять раскатился над землей. Словно распалась где-то гора и незримые силы, заключенные в ней, ринулись в пространство. День разом погас, словно задуло его. Наступила ночь. И во тьме, в воздухе и в вершинах деревьев завязалась яростная борьба; на сидевших в саду посыпались листья

* Египет и Вавилон.

и ветки. Разбуженное море грозно окрикнуло ссорившихся и вал прибоя с грохотом разбился о берег.

— Пойдем в дом, — сказал, вставая, Клавдий, — будет буря — и уже ночь совсем.

Старуха жадно втянула в себя похолодевший воздух.

— Я рада грозе. Хорошо!.. Жжет в груди у меня: слишком долго Иегова заставил меня дышать вместе с людьми. Рассказывай, что ты написал об отце моем! — добавила она.

Фигуры их еле различались во тьме и, казалось, царица отдает приказ рабу своему.

Сквозь стену ветвей блеснула молния и удар грома поколебал воздух.

— Пойдем в дом, — проговорил Клавдий, собираясь уйти и притрагиваясь к плечу старухи.

Она отшвырнула руку его, словно змею, прикоснувшуюся к ней.

— Боишься?! — презрительно прозвучало во тьме. — В дом Ессея не войду никогда! Будем здесь, ты должен услышать меня; отвечай: что написал ты, справедливый Ессей, об отце моем?

Клавдий нащупал скамью и опять присел на нее.

— Женщина, я писал то, что слышал от верных людей. Правда о нем острее меча, и я не хочу тебе делать больно. Зачем рассказывать о нем? Твой отец предал Христа — довольно и этого.

— Нет! — крикнула старуха и голос ее рассек рев ветра и волн. — Нет! Говори же!

— Ты хотела сама... — с затаенной грустью произнес, помолчав, Клавдий.

Он медленно начал говорить. Он наизусть помнил все, что было написано им, но точно отяжелел язык его и долго, пока не сгорел огонь его воспоминаний о Христе, с трудом произносил он слова. Рассказал, как Иуда пошел к первосвященникам и продал им Учителя за 30 сребренников, рассказал о последней вечере с учениками, когда Христос открыл им, что один из них предаст Его. И когда описывал ночь в Гефсиманском саду, он весь дрожал и смертная тоска, с которой боролся, молясь в кровавом поту, Учитель, каза-

лось, витала вокруг него: «Если возможно, да минует Меня чаша сия!»

Новая молния озарила сад, но грек, стоя в развевающемся белом платье своем, видел в ней свет факелов, поднятых над головами толпы: впереди, вглядываясь во мрак, шел Иуда.

— «Радуйся, рабби!..» — едва dokonчил Клавдий, — и... и Иуда поцеловал Его!

Голос рассказчика оборвался, он закрыл лицо руками, и слезы, горькие, бурные, потекли по пальцам его.

Старуха молчала. Ревела буря, осыпая их песком и ветвями; море с грохотом било в берег внизу.

— Грек, — выговорила, как будто немного теплее, старуха. — Слова твои — правда, но правда твоя ложь... Я расскажу тебе, как это было, — затем я и пришла к тебе, — но дай клятву мне, что впишешь в книгу слова мои. Даешь?

— Но что подтвердит их? Как могу верить тебе, а не тем, которых я знаю?!

— Из всех учеников Иешуа, отец один умел писать. Он вел запись деньгам и другим делам своим. Она у меня — эта запись, все поймешь из нее. Даешь мне клятву?

Мгновенный свет наполнил сад, и Клавдий успел различить какой-то свиток в руке старухи. Он бросился к ней.

— Дай мне ее!

Старуха отвела его руку.

— Клянись сперва. Клянись своим Богом, своим Иешуа, клянись головой отца своего, что напишешь правду!

— Ей, Господи, Ты видишь! — простерев руки к небу, произнес Клавдий клятву, разрешенную Христом. — Я ищу только правду! Обещаю перед лицом Его написать ее!

Старуха сунула ему свиток и он жадно схватил его и прижал к груди.

— Теперь я расскажу тебе, что было! — разделяя слова, проговорила старуха. — Думай, Ессей! Отец ведал деньгами Иешуа и учеников его: он один вел счет им. Иешуа не знал и не хотел знать, сколько имуществ приносили им люди и сколько раздавали они. Если бы хотел, Иуда каждый день мог брать себе больше 30 сребренников и вдруг про-

дал такое золотое руно за горсть монет? Он был умный человек и... Он продал Иешуа... да, продал, продал, — жестоко подтвердила старуха, — продал за эти деньги. Но только слепые умом не видят, что не корысть привела его к Каиафе.

— Что же, злоба, месть? — прерывисто спросил Клавдий; озноб, щекоча, стал пробираться вдоль спины его.

— Месть? — словно негодную тряпку, отбросила эти слова старуха. — Он был любимейший друг Христа!

— Он?! Женщина, любимым был Иоанн!

— Да, при людях. А наедине — Иуда.

— Наедине... что?

— Да, наедине. Иуда всегда тайно приходил к нему, когда уединялся он от тех... больших детей своих. И знаешь, о чем говорили они?

— Нет... — едва мог проговорить Клавдий, чувствуя, что зубы его мелко и часто начинают стучать друг о друга. Что-то страшное, словно море, вставшее до небес, готовилось рухнуть на него из тьмы.

— Иешуа хотел, чтобы Иуда предал его... — словно чекан по меди, раздельно прозвучали слова старухи. — Он уговорил отца предать его.

— Лжешь! — вне себя крикнул Клавдий. — Этого не могло быть! Он просил предать Его?! Богом-Отцом так решено было и Он-Сын провидел все!

— Решено было им с Иудой. Он провидел, потому что знал! — твердо возразила старуха. — Он был Ессей до мозга костей своих и сам решил принести себя в жертву. Он верил, что он воскреснет. Иуда поверил тоже. Все, что рассказал ты — было. Иешуа ждал его в саду Гефсиманском, решившись на смерть, но страх ее велик в человеке! Лицо его было в поту и Иуда поцеловал его, сказав: «Радуйся, рабби!» Слепцы, вы! Разве так предают люди?! Предатель укажет и только, а он поцеловал его, понимаешь — по-це-ло-вал! Это прощанье было с любимым человеком. Есть ли любовь выше той, когда идет человек — не на смерть, нет — смерть это миг, а на проклятия, на позор, на гонения на всю жизнь, на все времена, себе, детям своим, всему роду?! Иуда взял

на себя это бремя: «радуйся», — сказал он; он ободрял, поздравлял Иешуа, ведь он верил, как в солнце, как в завтрашний день, что наступает, наконец, полное торжество Иешуа, что воскреснет он! Он полон был им одним! Нет названья такой любви!

Клавдию не хватило воздуха.

— Ты — исчадие ада! — задыхаясь, сказал он. — Уйди! — он судорожно махнул рукой. — Ад пришел вместе с тобой!.. Мир рушится! — с воплем воскликнул он.

Старуха поднялась с земли.

Молнии освещали ее, ветер рвал клочья одежды, но шипящий шепот ее гвоздями вбивался в мозг Клавдия.

— Иешуа умер на кресте... Отец не спал, не ел — ждал воскресенья его. На третий день он подпоил стражу у гроба Иешуа и прошел в пещеру, где лежал он. Иешуа был мертв!! — неистово крикнула старуха. — Понимаешь ты: мертв! Он обманул Иуду!!

Костлявые руки впились в шею оцепеневшего Клавдия, трясли его, и он не имел силы оторвать их.

Вопль нечеловеческий, страшный вопль прорезал воздух и, как отдаленный крик запоздалого буревестника, отозвался над морем. Старуха разжала руки, повалилась на песок, грызя его и извиваясь, как змея, пораженная насмерть.

— О мой отец! — смутно слышал Клавдий у ног своих. — О, Адонай, зачем допустил ты это! Слушай, ты, Ессей! — скрипя песком во рту, хрипло заговорила она, приподняв с земли голову. — Отец унес его и тайно похоронил в горах. Потом повесился. Его проклинали из рода в род, Иешуа возвеличили. Тебя зовут справедливым. Я всю жизнь искала такого человека, кому верили бы, как тебе, Ессей. Говорила со многими, но все гнали прочь проклятую дочь Иуды. Ты поклялся, что расскажешь правду. Я требую, чтобы отцу воздали должное! Горе вам всем, если ты обманешь! Кровь отца пусть ляжет на вас и на детей ваших! Пусть дикие звери будут терзать вас на потеху другим, пусть будут жечь вас, пусть кровь ваша окрасит все реки земли!! Будьте прокляты, прокляты!

Яркая молния расколола в нескольких местах небо; синий свет залил весь мир; сад и воздух были полны призраками: они шли, летели, крутились и среди них один — громадный, косматый — надвигался прямо на Клавдия.

— Отец! — дико крикнула старуха, вскакивая на ноги и бросаясь туда, где ревело море. — Отец, это ты идешь?! Свидетельствуй.

Все поглотил громовой удар. Небо сплошь еще раз залилось мертвенным пламенем, наступил страшный, последний миг... небо и земля раздробились, рушились и куски их стремглав полетели вниз...

.

Когда Клавдий очнулся — белело утро.

Он приподнял голову и увидел, что он лежит на песке в нескольких шагах от скамьи. Было тихо. Бледное небо начинало синеть, предвещая безоблачный, жаркий день; на безбрежном море бирюзой переливалась зыбь и только мерный прибой, очертив белоснежной пеной берег, шумел, напоминая о буре.

Клавдий вспомнил все происшедшее, быстро ощупал, целы ли свитки, и с трудом встал на ноги.

Ужас опять воскрес в нем. Он чувствовал себя так, как если бы море всю ночь обрушивало валы свои вместо берега на его тело; голова казалась ему каменным шаром, но что значат недуги тела перед тем, что переживает дух?

Грек стиснул руками голову и повалился на колени.

— Господи! — пронеслось по саду. — Господи, вера горы сдвигает с места — я верую! Испепели меня, но дай знамение, что Ты воскрес!

Он обвел воспаленными глазами небо: оно было пустынно, даже птиц не виднелось нигде.

— Я верую в Тебя! — повторил он. — Исполни же единственную просьбу мою, я больше не утружу Тебя: пусть сложится сейчас сучок у дерева в знамение Твое. Господи, ус-

лышь меня!

Клавдий ничком припал к земле, но страстно ожидаемого треска не доносилось... было тихо. Он поднял голову: ветка зеленела на прежнем месте, даже листья не шевельнулись на ней.

— Не хочешь... не хочешь!.. — скорбно выговорил Клавдий. Глаза его упали на свитки, брошенные во время молитвы на землю. Он нагнулся, поднял один из них — тот, что оставила ночная гостья, и развернул его. Рукопись была на арамейском языке, — том, на котором говорил Христос — он видел это по начертаниям букв, но сам язык был незнаком ему.

Брови его сдвинулись.

Предстояло дать перевести эту рукопись на греческий язык. Значит, явятся еще посвященные в тайну, она станет известной всем...

.

До заката солнца быстро ходил по саду погруженный в думы Клавдий, стискивая то руки, то голову и то молясь, то безмолвно, со страшным вопросом устремляя глаза на небо. Когда алый шар солнца до половины окунулся в море, Клавдий быстро подошел к обрыву над водой, которым кончался сад.

В еще накануне черных, всклокоченных волосах его серебрились целые пряди; глаза и щеки глубоко ввалились. В руках он держал свиток дочери Иуды — летопись жизни Иисуса, за обладание которой он еще утром вчера, не колеблясь, отдал бы жизнь свою. Он долго глядел на строки — загадки, открывавшие, шаг за шагом, бездну души Христа и почувствовал эту бездну. У него захватило дыхание, но он опомнился, быстрым движением вдруг разорвал пополам рукопись, половины порвал на клочки и бросил их вниз:

словно рой розовых бабочек затрепетал над обрывом и стал садиться на воду.

— Я третий в великой тайне! — сурово и глухо проговорил грек. — Мне послан крест и я понесу его. Но если ты не воскрес, Христос?!.. Все равно, ты должен воскреснуть!

ЧЕРНОКНИЖНИК

ЧЕРНОКНИЖНИК

— Вот вы интересуетесь, жутко или нет жить на кладбище... как вам сказать — все в привычке, конечно! Нашему брату, сторожу, и по ночам приходится обходить его: стена кругом хоть и каменная, но невысокая, церковь опять же есть. А народ нонче сами знаете, какой пошел, мало ли что может приключиться?

Ежели темная ночь — идешь с фонарем и не мертвецов боишься встренуть, а живых людей; часто чудится, будто человек прячется, — из-за памятника либо дерева выглядит, а наведешь свет — куст либо столб оказывается. А то на колокольне будто кто заводится — голуби либо галки: это самая худая примета — грабители часто этой дорожкой пробираются!..

А бывает, конечно, разное: товар ведь у нас особенный! Да вот расскажу случай один. Теперь уж я весь седой, а в те поры еще молодым парнем был, здесь же подручным служил. А старшим был у нас — дед Онисим.

Кончим, бывало, день, запрем ворота и калитку, согреем самоварчик, да в сумерках на вольном воздухе на скамеечке за столиком и пристроимся — наш час наступал!

Древен годами был дед, даже борода из седой желтой заделалась, но крепкий, что гриб-боровик, — только горбился! А уж до чего словесный был — на удивление: целиный день как ручеек мог журчать!.. Иной раз уж не слушаешь его совсем, не тем голова занята, а он сидит, как пенек замшелый, над глазами клоки белые, что кусты над речкой, висят, и сам с собой утешается! На кладбище каждую могилу знал, каждое деревцо: все на его глазах росло — полвека здесь прожил!

Метем, бывало, с ним дорожку, а он ширк-ширк метлой и остановится, на какой-нибудь памятник старый укажет: тут, мол, такой то лежит, а был тем-то, а с ним вот что приключилось — и давай всю подноготную выкладывать — слов-

но среди живых людей стоял!

Поднабрался я от него кой-чего про старые времена!

Вот, однажды, идем мы с ним по дальнему краю, а там место такое глухое: одни часовни в два ряда стоят старинные, забытые; иные уж набок посунулись, стены растрескались, окна без стекол, крыши мохом зеленым подернулись, дорожка заглохла, крутом елки густые как в лесу разрослись.

Остановился дед у одной часовни, да и говорит:

— А здесь примечательный господин лежит!..

Оглядел я стену — надписи никакой нету; на углу колокол большущий висит, вроде как на станциях; к нему проволока из стены проведена.

— Кто же такой?.. — спрашиваю.

— Изобретатель Волков!.. — ответил дед. — А вернее сказать — чернокнижник!

Я перекрестился.

— Что ты, говорю, дедушка, такое рассказываешь? Да разве на освященном месте чернокнижника похоронят?

— Всякое случается!..

Взялся Онисим за ручку, отворил дверь — незапертая стояла. Заглянул я за нее — сумеречно внутри, пусто; ни икон на стене, ни креста, плесенью густо пахнуло. Жутко мне стало!

— Да входи, входи! — велел дед. — Чего мнешься?

Вошли мы. Онисим взялся за большое кольцо, что в плиту пола было ввинчено; люк открылся, ступеньки каменные засерели... в темень всмотрелся — гроб различил черный... духом теплым потянуло.

Дед опустил плиту, выбрались мы наружу; я будто из капкана вырвался, так Божьему свету обрадовался!

— Что же, — спрашиваю, — чернокнижник этот надедал?

— Долго рассказывать!.. — отозвался дед. — Сейчас некогда; вечером, ужотка напомним, расскажем...

Ну ладно! А там могилу пришлось идти рыть, потом тем да сем занялись, гость заходил — про Волкова мы совсем и забыли!

Минуло таким родом лето и осень. В ту пору развратный тиф широко народ косил — много всяких забот было. Зима подошла, да выюжливая, снежная, все кладбище сугробами чуть не по верхушки крестов занесло. Шибко нам работы прибавилось! Не в примету сочельник и Рождество подошли.

Дед в город сходил, мяса для праздника принес, яблочков, пряников, орехов... Семьдесят годов старику было, а он их как белка щелкал, ей Богу!..

Я домовничал, кутью с медом изготавил, сторожку прибрал чистенько.

Вечереть начало; огня не вздували, сели у окошечка, звезду высматриваем — ничего ведь есть в этот день до звезды не полагается!

И вспомнулся мне склеп Волкова — елки вокруг него все снегом занесены — я их днем издали видел.

— Дедушка Онисим?.. — говорю. — А помнишь, ты посулился про барина Волкова рассказать?

— Помню!.. — отвечает. — Что ж, можно! Помер он, когда тебя еще и на свете не было — годов тридцать назад, вот сколько!.. Не наш он был, нездешний, а откуда взялся — этого я не знаю. Чудной был: ни с кем не водился, всегда утрюмый; идет по улице, шляпу в руке несет, патлатой головой справа налево помахивает — думал всегда! Как вечер, он черную книжку большую давай читать. Весь город спит, ночь глухая, а у него свет горит, окошки то зеленым огнем, то красным вспыхивают.

Лакей сказывал, будто нечистую силу он вызывал. Горн у него в кабинете стоял, столы всякими стеклянными трубками и пузырьками заставлены были. Чего-то он все кипятил, переливал. Иной раз как грохнет — лакей аж кубарем с постели скатывался!

И придумал господин Волков порошок особенный: кто примет его — так сразу и заснет на разные сроки, по усмотрению — на неделю, на месяц и больше. Изготавил это он порошок, упредил лакея, чтобы семеро суток не тревожил его, и не велел знать давать никому ничего.

— Зачем же ему такой долгий сон потребовался?.. — любопытствовал я.

— Жизнь, сказывали, не ндравилась — это дед мне в ответ. — Будущность желал узнать! Опять же человек одинокий был, богатый — отчего ему не поспать? Принял он семиденный порошок, лег у себя в горнице и уснул. И как ведь уснул — как помер: ни дыхания в нем не осталось, ни тепла, сердце не стукнет !

Испугался лакей! Однако, срок выждал: — глянь, через семь суток барин и впрямь очнулся, ровно как бы с похмелья себя восчувствовал! И так это все ему занятым показалось, что порешил он на двадцать пять годов уснуть. Купил себе место на кладбище, склеп устроил, какой ему понадобился, из склепа проволоку велел протянуть наружу, на стене колокол повесили, чтобы, значит, можно было, как очнется, слух о себе подать! Духовную сделал. Покончил с делами, да новый порошок и принял!

Лакей сейчас в полицию; пристав явился, доктора, знакомые разные. Освидетельствовали его — покойник форменный! Что делать? Не в городе же его держать, на квартире, для испытания? Его и перевезли в склеп. Дверь заперли, ключ мне вручили; только отпевания не было!

— И стали мы, — сказывал дед, — с той поры звона колокола ждать: мало ли что могло произойти? вдруг да порошок не той действительности сделан был и господин раньше срока проснется ?

Год минул, другой и пятый... стали забывать про спящего; никто к нему не являлся, могила в чистке не значилась, лесом стала зарастать...

Прошло таким родом уже не двадцать пять, а все сорок годов! Дед Онисим помер давно; все старики-могильщики тоже под кресты легли, я дедом сделался. О господине Волкове и памяти не стало... явное дело — ошибся он в чем-то и уморил себя!

Однажды — как сейчас помню, — в июле месяце, под Владимиров день, постелил я себе вот тут на лавочке под окошком войлочек, подмостил под голову подушку, укрылся тулупом и сплю. И слышалось мне во сне, будто ко-

локол где-то резко ударил! Поднял я голову — нет... ничего не чуть больше! Глянул на окно — ночь светлая стоит, месячная, деревья как серебром облитые, листком не шелхнут... между ними памятники и кресты, будто белое стадо на траву пастись высыпало... И вдруг тень мелькнула!

Дрогнул я. — Как — думаю — мог сюда человек попасть? Ворота заперты, стало быть, вор забрался либо разбойник!

Заметался я по сторожке: палку ищу, а ее, как на грех, нет, запропастилась куда то! А снаружи топот глухой уже слышу... ближе он все и ка-ак грохнет что то в дверь!

— Отворите!!... — кричит неизвестный. А голос слабый, надорванный.

Распахнул я окошко, высунулся: у двери высокий, истощалый человек стоит — навалился на нее; голова всклокоченная, борода тоже, сквозь одежду тело пятнами белеет, от штанов, вниз от колен, только лохмотья висят, ноги босые.

— Почему я на кладбище?! — спрашивает. Зубы, слышу, щелкают, весь дрожит и на ногах еле держится!

— Это, — отвечаю, — тебе лучше знать! Как ты сюда попал?

— Не знаю!.. — шепчет. — Где я?.. Который год теперь?

— Тысяча девятьсот второй...

Он за голову себя ухватил, замотал ею.

— Кто же я?.. Где мой дом? — повторил и вдруг как завизжит, как пустится бежать прочь — откуда силы взялись! А с него куски платья, как листья с дерева осенью, посыпались.

Вышел я из сторожки — в толк взять ничего не могу! Кто такой был, откуда взялся? Да как вскрикну сам: — Господи, да уж не Волков ли очнулся и все прошлое позабыл?

Не до сна стало, конечно! Послушал я немного на дворе — тихо... через ограду, наверное, перебросился человек!

Воротился я в сторожку, зажег лампочку, да под иконами до утра за священным писанием и просидел!

Только обутрело, захватил я огарочек и — ходу в склеп волковский! Подхожу — вижу, дверь настежь стоит; вошел в часовню, поднял западную, зажег свечку и посветил в склеп.

В гробу никого нет, на боку он лежит, рядом крышка валяется сброшенная... проволока к звонку оборванная висит — перегнила совсем.

Я сею же минутой к отцу настоятелю. Он с матушкой чай утренний кушали; оба из себя такие высокопоставленные были, дебелие; у нее даже усики на губе росли черные.

— Так и так!.. — докладаю: — вот какое происшествие у нас ночью приключилось!

Усомнился отец протоиерей.

— Я, — говорит, — даже и не слыхал ничего о таком Волкове!

Однако, стакан докушал и вместе со мной пошел.

Спустились мы в склеп и как увидал он все — взялся рукой за бороду, покачал головой и эдак, утробой выговорил:

— Н-да... убедительно!..

Говору поднялось у нас на кладбище, пересудов!..

А на другой день отец протоиерей сам велел кликнуть меня к себе.

— Вот что, Андриан? — сказал. — Являлись ко мне двое надзирателей из сумасшедшего дома, справлялись — не видели ли на кладбище бежавшего ночью больного, забывшего, кто он такой. И ростом и обличьем он как есть твой Волков. Соображаешь теперь?.. Из города бабы переть начинают, на воскресшего покойника поглядеть просят!.. Так уж ты того, не суесловь больше! Чудеса нынче воспрещены... да из этого и ущерб может выйти: кто же к нам покойников хоронить повезет, ежели они воскресать у нас будут?

Ушел я. А дорогой все сомневался.

— Как же так? — думаю; — куда ж бы тогда девалось тело покойника? Разве не мог господин Волков год либо два тому назад воскреснуть, попасть в сумасшедший дом, а оттуда бежать теперь через кладбище — рядом они, почитай, находятся! Ну, да разве с начальством поспоришь?..

А беглого сумасшедшего нашли еще через день: утоп в канаве с водой у кладбища!

ОСЕННЕЕ

Поздняя осень...

Льет дождь: сквозь разредившийся, почернелый сад видны жнивья и ровные, вспаханные поля; вдали большак, обсаженный ветвистыми березами. И все пустынно — ни души живой кругом; даже вороны и те куда-то попрятались. Дороги развезло — ни выйти, ни выехать...

Скучно в такую пору в деревне!

В доме тишина; учащаяся молодежь давно в городе; оставшиеся будто притаились по своим углам. Делать ничего не хочется, даже не читается... Утонешь в дедовском кресле у окна и подолгу смотришь на мокрый знакомый двор, или бродишь по пустынным комнатам... за тобой чуть слышно крадется эхо... Остановишься против старинных портретов, что-то вспоминается, думается... Мысли бессвязны; рои их сплетаются в какие-то образы и чувства, сейчас же уносящиеся прочь... Осень — время для дум и воспоминаний; в скуке ее есть своя прелесть!..

И вдруг как ветром сдует наполняющий душу неведомый мир и сразу перенесешься в настоящее: с большака к усадьбе сворачивает коляска с поднятым верхом.

Дом пробуждается. — «Едет кто-то!..» — искрой облетает комнаты. А со двора уже слышится глухое чавканье копыт и у подъезда водит боками тройка коней, запаренных до пены под шлейками; кузов коляски, крылья, колеса облеплены пудами грязи.

Случайный гость в такую пору — радость!

Время, или не время — на столе вырастают самовар и закуски. За оживленной беседой только по ставшему слишком ярким огоньку папироски гостя сообразишь, что направились сумерки; глянешь на окно — там хмурится темень; по бурому, провисшему небу поодиночке тянутся на ночлег к дальнему углу сада взъерошенные вороны.

Из столовой переходим в уют маленькой, теплой гостиной или кабинета...

Ночная темнота способствует откровенности и многое, о чем промолчал бы человек днем, расскажет вечером.

Именно в такую пору ко мне неожиданно завернул некто Заварнин — мой дальний и малознакомый сосед ; молва о нем шла неопределенная, странная: говорили, что он оккультист и спирит; ходил даже слух, будто бы он умер и был погребен на Московском кладбище.

Гость освободился от бурочного чапана и шубы и мы поздоровались.

— Лошади из сил выбились — такая отчаянная дорога! — заявил он, входя вместе со мной в столовую. — Если не прогоните, буду проситься заночевать у вас?..

— Милости прошу, очень рад!.. — ответил я.

Заварнин был высок и худощав; на верхней губе его изжелта-смутлого лица чернели две капельки — модные усыки; он был бы красив, если бы не выпуклые тускло-черные глаза с синими белками; лет ему можно было дать под сорок.

Разговор сначала несколько не вязался; личные интересы у нас были разные, а земскими делами Заварнин не интересовался совершенно и при упоминании о них умолкал и слегка кривил тонкие, синеватые губы.

Гость отогрелся чаем и мы перешли в кабинет; туда же подали нам бутылку густого Ньюи и мы расположились в креслах друг против друга.

Разговор коснулся участвовавших в последние годы землетрясений и их последствий.

— Опасность всегда можно избежать!.. — заметил гость. — Надо только прислушиваться к голосам природы... К сожалению, мы воспринимаем разве сотую долю ее предупреждений!..

— Например, каких?..

— Да хотя бы шум листьев, воды — они совершенно изменяются перед катастрофами...

— Разве?...

— Бесспорно! И реки и деревья перед землетрясениями шумят по-особенному. Земля всегда шлет свои предостерегающие радио человеку... К сожалению, многие совершенно разучились понимать «трав прозябанье»!

— Понимание их — уже не учение, а способность!.. — возразил я.

— Совершенно верно. И эта способность сохранена животными: у них она проявляется смутным беспокойством. Собаки предчувствуют даже такие события, как приближение чьей-либо смерти или пожара в доме....

— Это совсем потустороннее... — ответил я. — Вы не теософ?..

Заварнин неопределенно наклонил голову.

— Я ищущий, но без определенных рамок...

Я посмотрел сквозь рубин стакана на свет; гость медленно отхлебывал вино: ночь и оно уже начинали оказывать некоторое действие; на верхней части его щек засквозили румяные пятна; он сидел рассеянный, мысли его, видимо, унеслись далеко... по железной крыше гулко стучал дождь.

— Вас в уезде считают чем-то вроде Фауста или Калиостро... и даже Феникса?.. — заметил я, наливая еще вина.

Заварнин оглянулся на меня; в черных глазах его мелькнуло недоуменное выражение только что опомнившегося человека.

— Я, Фауст?.. — он улыбнулся. — Я только человек, десять лет отсутствовавший из дома!... А что необыкновенное имело место в моей жизни — это верно!

— Что же именно?.. — спросил я.

— Если хотите, расскажу?..

— Очень прошу!..

Заварнин отпил из стакана.

— Вы ведь знавали моих родителей?... — начал он. — Помните, как шумно и широко они жили?

— Как же!.. — отозвался я. — И вас помню еще студентом... Куда вы потом как в воду канули на целых десять лет?

— Сперва в Москве жил, затем за границей... жизнь вел безалаберную! И вот, однажды, познакомился я на вечере у знакомых с молоденькой барышней... Знаете, курочки такие бывают особые, с большущим хохлом на голове, из-под которого только глазки блестят да носик торчит — ну точь-в-точь она. Платье на ней было белое, не то из снежинок, не то из перышек, личико оживленное, веселое, а над ним круглая шапка из черных кудрей.

Разговорился я с ней — будто ранней весной из душевого дома на балкон вышел: свежестью дохнуло, чистотой, искренностью... подснежник с черной головкой!... Звали ее Ирой.

Заварнин пожал плечом.

— Удивительная вещь память!!.. — будто самому себе сказал. — Часто забываешь существенное, важное, а запечатлевается мелочь, пустяк!... Первое, что мы сделали с ней — пошли танцевать... какая-то монументальная дама играла вальс из «Фауста»... король всех вальсов, не правда ли, он вечная молодость!... Знаете, что я сейчас вижу?.. — вдруг перебил он сам себя; глаза его были устремлены на окно.

Я невольно посмотрел туда же — за мокрыми стеклами чернела ночь.

— Сад густой, — продолжал Заварнин, — заросль жасминов и из нее глядит небольшой, деревянный особнячок с облупившимися, выбеленными колонками; небо светло голубое, на нем кресты и главы церквей Кремля... Ах, какая прелесть это Замоскворечье! Тогда оно было еще полно такими особнячками и садами. Дворянство познатней, побогаче широко размещалось на Поварской, на Арбате, на Пречистенке; в Замоскворечье жили купцы и небогатые дворяне. А что за красота там под Светлый праздник! Все звонари ждут на своих колокольнях первого полуночного удара с Ивана Великого: как только он проплывет — все сорок сороков московских подхватывают трезвон. Это нечто потрясающее! А на чернети неба, как нарисованные разно-

цветными, яркими красками, горят иллюминированные купола и башни Кремля...

Часто говорят, что любовь теперь мельчает и вообще идет к вымиранию. Так и быть должно — для нее, для восторженной, чистой любви, нужна обстановка: нельзя дворнику изъясняться в ней иначе, как хлопая по спине даму сердца лопатой !...

Начался у нас роман.

Из родителей ее в живых находилась только мать — добродушная наседка с карими, ласковыми глазами, и брат, Иван, тоже студент, весельчак, балагур и гитарист...

Я это об их доме и саде говорил сейчас!

Сядешь, бывало, в лунный вечер на перилах балкончика, на ступеньках расположатся Иван с сестрой; за сквозным навесом лип месяц в белой зыби облаков купается, сирень благоухает, жасмины; за забором на улице тишина... И вдруг соловей отзовется из кустов; за ним другой, третий. Иван на гитаре им чуть вторит... Или в аллее укроемся... с балкона лампа зажженная за нами следит, стол там накрывают к ужину. А мы, прильнув друг к другу, идем под руку... чувствую, как сердце у нее бьется под легоньким, белым платьем...

Извините, я глупости болтаю!.. — спохватился Заварнин. — Это ненужно и неинтересно!

— Полноте!.. — возразил я. — Все интересно; пожалуйста, продолжайте !

— Дни летели — и не замечал я их. Много читали, много говорили... одного только слова не выговаривал я — «люблю». Произнеси я его, и мы стали бы женихом и невестой... я это чувствовал, знал, видел и этого испугался! Стал пытаться представить себя в роли мужа. Это значило — отрешение от своих привычек, вечное приспособливание к другому человеку, отдачу себя до конца дней только этой одной милой, но наивной девочке. Теперь я понимаю, что со мной творилось!.. Я остыл к ней, потянуло в сторону. Женитьба вообще нешуточная вещь, а такая ранняя камень.

И жаль ее было, и больно — Гордиев узел скрутился!

В разгар таких размышлений и переживаний мне пришлось остаться у них ночевать. Случалось это и раньше — я жил очень далеко, у Смоленского бульвара.

Устроили мне, как всегда, постель на синем диване в гостиной, лег я, а уснуть не могу — думы безотвязные в голову лезут, а тут еще месяц полный в стеклянную дверь смотрит. Лежал я, лежал, терпенье наконец иссякло!

Встал, оделся и на балкон вышел.

Было уже очень поздно и сыро; кругом все спало. Спустился я в сад, прошелся по аллее — будто в гроте обрызнутом золотом бродил, — потом к балкону направился; окна темные, за ними занавески тюлевые белели... Иренина комнатка в мезонине находилась — и там ни тени...

И вдруг вижу — какой-то плотный господин стоит на балконе: облокотился на перила, руки поджал и за мной следит; месяц прямо на него светит, голова будто из серебра вычеканена, вся в завитках, брови густые, черные, у переносья слились; усы висят, щеки бритые, одет в халат с разводами.

Я изумился.

— Что за история, думаю?! — кто такой, откуда взялся? Подхожу ближе — лицо как будто знакомое, но чье — хоть убей, не помню!

Поднялся я на балкон, поклонился слегка.

Незнакомец медленно обратил в мою сторону лицо; впалые глаза его светились.

— Вы здесь живете?... — спросил я, сам не знаю почему.

Ответа не было. Незнакомец повернулся и молча пошел к двери; на ногах его белели носки; вышитые туфли без задков зашлепали по его пяткам. У порога он остановился, оглянулся, погрозил мне пальцем и скрылся в гостиной.

Я стоял как ошарашенный.

Незнакомец явно был свой человек в доме и жил, вероятно, в мезонине. Но отчего же я о нем никогда не слышал? Значит, его прятали? Почему он погрозился мне? Что-нибудь заметил?.. Или он душевнобольной?

Долго не мог я уснуть. Утром открыл глаза, потом скорее протер их и вскочил: со стены на меня глядел портрет

моего ночного гостя — я его видел много раз; то был давно покойный отец Иры!

Раздетый, я подбежал к портрету. Он, несомненно он, являлся мне ночью: на меня глядели те же бездонные, мрачные глаза; лоб рассекали те же две глубоко просеченные морщины. Почудилось, что губы его шевельнулись...

Я отскочил прочь и давай скорей одеваться!

Когда все сошлись к чаю, я ничего про свое видение не сказал: не хотелось, было неприятно. Ира и мать ее нашли, что я бледен и обеспокоились, но я отговорился головной болью и поспешил уйти.

С этого дня я твердо взял себя в руки: бывать стал реже, вдвоем с Ирой в аллею не ходил... на портрет старался не смотреть, но он не спускал с меня глаз и, даже сидя спиной к нему, я чувствовал на себе его неприятный взгляд.

Ирина притихла, а с нею и весь дом; в глазах ее я ловил тревогу и недоумение... было горько и тяжело, но я решил выдержать характер и не смущать ее зря... поздно, конечно, спохватился!

Ни вопроса, ни намека ни на что со стороны Иры не было: думала и переживала все про себя. Только раз, когда мы остались с ней на балконе одни, она положила руку на мою и тихо, глубинно, спросила: — «Что с вами?».

— Я нездоров!.. — ответил я. — Кажется, я должен буду скоро уехать...

Ира побледнела.

— Вы вернетесь!.. — помолчав, с пророческим подъемом сказала она. — Мы увидимся!..

Появился Иван; Ирина поднялась и ушла к себе.

Я последовал ее примеру.

Эта беседа с Ириной была последней: больше я к ним не показывался.

Скажу правду — сердце долго щемило! Я задурил, закрутил, завязал роман с некоей легкой барынькой — от Иры ни звука...

Меньше я о ней думать стал, потом экзамены подошли, университет кончил, за границу уехал и совсем потонуло все!.. раза два, впрочем, вспоминалось кое-что — как кар-

тинки из детства!..

Прошло много времени — лет десять... Помяла меня судьба, остепенился я, больше духом стал жить.

Как-то зимой попал я по делам в Киев; поселился в гостинице, скучаю и вдруг, однажды, утром подают мне письмо. Вскрываю его и словно ток электрический меня пронизал: — «Сегодня в дворянском собрании маскарад» — глядело на меня с листка: — «я буду в костюме цыганки и в желтой полумаске. Придите непременно, я хочу вас видеть! Ира».

Не передать того, что я испытал! Радость охватила, бодрость. Как солнцем осветило домик в Замоскворечье, сад, Ирину — душа помолодела!

Разумеется, вечером в дворянском собрании я был чуть не первым! Стал между колоннами у входа в зал, высматриваю цыганку — ее нет и нет! народа собралась уйма — Иры не видно.

Отошел я в глубь залы, думаю — уж не пропустил ли я ее как-нибудь: нет ее в толпе! И вдруг как огонь вспыхнул у колонны — в ярко-красном платье, с желтой маской на лице показалась цыганка; сразу узнал ее кудри, походку, фигуру; выросла только, как будто, округлилась формами, родным дохнуло, близким!

Я к ней! И она меня увидала; протянула обе руки ко мне, шага три между нами оставалось, глаза ее блестящие видел. В эту минуту какой-то верзила попал между нами, закрыл ее. Я оттолкнул его — за ним оказался капуцин; я дальше — нет цыганки! Осматриваюсь — пропала, как в воду канула!!

Обогнул я колонны, обошел все углы — нигде ее не оказалось! Обратился к распорядителям — такой маски не видели ни они, ни капуцин с верзилистым господином.

Оставалось одно — заключить, что у меня была галлюцинация! А письмо-то ее как же?! в кармане оно у меня лежало! Пробродил я по зале до четырех часов ночи, намучился, ничего не узнал и уехал в свою гостиницу.

На другое утро прямо в адресный стол махнул. Там Ира не значилась — ясно, она или замужем, или проезжая, как

я. Укольноу меня первое предположение!

Приходилось ждать нового письма; его тоже не было ни на следующий день, ни на третий...

На четвертое утро отправился я пройтись к Аскольдовой могиле, развлечься видом на Днепр и дали; с этого кладбища они удивительные! Сел над самым обрывом на скамеечку, а мысли вразброд бегут — душа вся перебудоражена — не могу постичь, что же такое случилось? Кругом пустынно, тихо; тысячи памятников и крестов далеко вниз по уступам горы спустились; рядом со мной березка молоденькая вся инеем осыпанная стояла, ни ветка не шелохнулась на ней. И вдруг вся она затрепетала, снежинки звездочками густо с нее посыпались; меня крылья-невидимки воздухом овеяли. И опять зацепенело все.

Взволновался я! Чувствую, что не могу больше сидеть, тянет неудержимо куда-то. Встал со скамьи и только завернул за угол дорожки — погребальная процессия мне навстречу идет: гроб белый глазетовый на руках несут.

Снял я шляпу, пропустил его мимо себя и пошел с сопровождавшими: их двигалась целая толпа. Один господин показался мне знакомым. Вгляделся в него — батюшки, да это Иван, брат Иры: бородой зарос, понурый идет, убитый!

Тронул я его за плечо.

— Ваня?.. — говорю. — Кого хороните?

Он вскинул на меня глаза и сразу узнал.

— А, это ты !.. — равнодушно сказал. — Иру хороним.

И вдруг как затрясется весь, как осыплется слезами — должно быть, я старые воспоминания в нем видом своим разбередил!

В коротких словах заключил он годы: несколько лет назад Ира вышла замуж и жила в Киеве. В день смерти она собиралась поехать на маскарад, очень нервничала почему-то; перед самым отъездом из дома подошла к зеркалу примерить маску и вдруг закричала и упала. Когда ее подняли — она была уже мертва — скончалась от разрыва сердца.

— Что же могло ее так потрясти?.. — спросил я.

Иван пожал плечами.

— Не знаем!.. никого посторонних в доме не было! Разве отцовского портрета испугалась — он у них в том зеркале отражается?..

Я все понял... понял и то, что овеяло меня и березку: это душа Иры мимо меня прошла...

Так я и остался холостым!.. — закончил Заварнин свой рассказ. — Поздно прозреваем мы, в чем и где наше счастье.. Однако, уж полночь, пора спать, если разрешите?..

На другое утро опять низко висели бурые лохмотья неба, лил дождь, белый кот клубком спал среди тишины на горячей лежанке.

Я ходил в мягких туфлях от окна к окну и смотрел на большак, где черной точкой долго маячила коляска Заварнина.

Рига, 1927

БРЕД

Умирал богатый, уважаемый всеми, известный деятель Поплавин.

Зима стояла ветреная, бесснежная, ездили на колесах и потому улица перед домом его была густо устлана соломой; ни малейший шум не проникал сквозь спущенные толстые занавеси в просторную и высокую спальню.

Кроме больного, в ней находился лечивший его профессор, невысокий плотный господин в золотых очках, с ухватками обезьяны и лысой головой в виде дыни. Профессор стоял у постели и, крепко зажав в кулак бритый подбородок, склонил на бок голову и молча глядел на пациента.

От Поплавиин — жизнерадостного пятидесятилетнего здоровяка — оставалась лишь тень, так он исхудал и измучился за время болезни. Он лежал, раскинув бессильные руки и дышал, с хрипом и свистом вздымая грудь.

Увидав, что Поплавин открыл глаза, профессор изобразил на лице своем подобие улыбки.

— Ничего... ничего!.. — проговорил он. — Дело идет на поправку, скоро поставим вас на ноги!

Больной не отвечал; такие фразы он слышал давно и знал им цену. Он повел на профессора расширенными зрачками и устремил их на стену: ему было все безразлично.

Профессор тихо вышел и плотно притворил за собой дверь. Его обступила ожидавшая его выхода семья больного.

— Что скажете? есть надежда?! — зашептали кругом него...

.

...Поплавин опять повел глазами на профессора; тот сидел на стуле в ногах у кровати в весьма странной позе:

ноги его были подняты коленями к самому подбородку и руками он охватывал их. Из-за стекол очков, как хорек из норки, глядели острые, внимательные глаза.

— Дрянной опалишко будет... грошовый! — сказал вдруг профессор и с пренебрежением качнул дыней.

— О чем вы говорите? — прошептал Поплавин. И в то же время почувствовал, что боль внутри его начинает утихать и воздух свободнее входит в его легкие.

— Опал — камень страдания! — ответил профессор. — То, что вы пережили, ваши чувства станут опалом. Неужто вы не знали, что решительно ничто не теряется в мире? Горе, радость, страдания — все чувства и порывы людей превращаются в алмазы, рубины, радий и т. п. Человек это лейденская банка особой системы. Она шлет свои нервные волны в пространство и в землю, и когда атмосфера насытится ими — начинается кристаллизация. Заметили ли вы, что перед большими войнами атмосфера сгущена особенно? Люди мечтают: их давит, гнетет то, что носится в воздухе. Затем все разряжается, стихает и успокаивается: энергия где-то выкристаллизовывается и опять начинают скопляться радости, горе и обиды. Находки драгоценных камней особенно обильны после великих бедствий...

— Какой вздор!... — возразил Поплавин. Ему стало совсем хорошо и он даже улыбнулся, заметив, что собеседник его расцепил руки и быстро, всей пятерней, словно играя на балалайке, почесал совсем по-обезьяньему себе щеку.

— Шучу, а это что? — спросил профессор, указывая на грудь Поплавина.

Тот опустил глаза и увидел на одеяле совсем крошечный, зелено-белый камень. И в то же время различил два тонкие и неясные луча, исходившие из собственных зрачков своих; Поплавин чувствовал, что эти лучи переливают боль из него в камень. Они погасли.

— Как легко мне стало! — слабо и радостно воскликнул больной. — Все кончилось!

Профессор схватил камешек и с пренебрежением подбросил его на ладони.

— Плохой... мелочь, как я говорил! — процедил он. — Чем ярче чувства, тем лучше камни из них. Драгоценнейшие рождаются в дни величайших народных бедствий. Море человеческих излучений сливается тогда в одно; что за красота создается из этих волн!

— Это какое-то чудо! — проговорил Поплавин.

Профессор захихикал.

— А что не чудо? — спросил он. — Чудеса на каждом шагу, только вы перестали замечать их. Чудо для людей — лишь то, чего они еще не видели. Электричество, магнит, — разве они не величайшие из чудес? А превращение непрозрачного песка в невидимку — в стекло не чудо? Вот почему так неотразимо влечет всех к драгоценным камням! В них заключены радость и горе, добро, и зло. И соответственно этому: есть камни злые и хорошие. В каждом — энергия тысяч людей. Это сверх-динамит в замаскированном виде.

Профессор встал и Поплавин увидел, что ноги его собеседника поросли шерстью и имеют раздвоенные копытца. Это его не удивило.

— Сюртук не идет к вам! — сказал он.

Профессор нагнулся над Поплавиным. Глаза его заблестели.

— Ты мне необходим! — зашептал он. — Хочешь бессмертие? я тебе дам его! Нужно все камни в мире опять превратить в нервные токи. Вся атмосфера заполнится ими. Мир обезумеет! Какие неслыханные оргии вызовут бриллианты! Рубины залиют землю кровью! Человечество будет плясать среди пожаров, вонзая друг в друга ножи, обниматься, отравлять!.. Времена Ваала, Нерона, гуннов, — все бедствия всех времен и народов сразу слились бы в неистовом вихре!.. Мы победили бы!.. Так умер бы мир!

— Разве можно камень превратить в страдание? — произнес Поплавин.

— Если вода превращается в лед, то и лед превращается в воду! — ответил профессор. — Но для этого мне надобен ты. Хочешь бессмертие?

— Страдать... никому... не надо! — трудно проговорил больной.

Два красных, огненных глаза зажглись на изменившемся и ставшем похожем на редьку лице профессора. Он вырос; сюртук исчез с мохнатых плеч.

— Соглашайся скорей и я задержу твою смерть! — шипя, сказал он. — Еще минута и будет поздно!

Поплавин отодвинулся дальше от него к стене, насколько позволили силы.

— Ты черт! — в тоске сказал он. — Что тебе нужно от меня?

— Пустяк! скажи только «да»! — Черт засмеялся, оскалив клыки.

— Нет! — произнес Поплавин. — Да воскреснет Бог и расточатся врази его!...

Черт откачнулся, посерел и превратился в прозрачно-мутное пятно, имевшее человеческие контуры; сквозь него обрисовалась гнутая спинка стула.

Пятно исчезло.

Поплавин вздохнул и почувствовал, что дышать ему опять стало труднее: истома снова стала овладевать им.

— Умираю! — подумал он, застонал и зарылся лицом в подушки...

Что-то нежное повеяло над ним. Больной поднял голову; мягкое серебристое сияние наполняло спальню; среди нее стоял ангел с белыми крыльями.

Жажда жизни с невероятной силой вспыхнула вдруг в груди умиравшего. Он сел на постели и протянул к ангелу обе руки.

— Спаси меня, спаси! — в отчаянии прохрипел он. — Я не хочу умирать!

— Мне дана эта власть! — прозвучал спокойный ответ. — Не бойся ничего и слушай...

Поплавин скрестил на груди руки и застыл с просветленным лицом.

— Продлить твою жизнь я не могу. Но если желаешь, повторить ее можешь!

— Не понимаю?.. — прошептал больной.

— Начнешь ее с самого детства! — продолжал ангел. — И день за днем, слово в слово повторишь и переживешь вторично все, что ты пережил!

— Во всех подробностях? В самых мельчайших?

— Да.

— Нельзя ничего исправить, ничего избежать?

— Нельзя.

Поплавин поник головою.

Прошлое с необычайной яркостью развернулось перед умственным взором его... Ни преступлений, ни грязных дел там не было. Но были проступки, обиды... совесть больнее закона наказывала за них; были мучительные ночи без сна, были унижение, несчастье, ужас смерти близких людей... И это пережить все снова?!

— Что же? — прозвучал голос ангела.

— Скажи... — Поплавин отнял ладони от лица. — Ты предлагал это другим людям, честным, не юношам?

— Да.

— Соглашались?

Ответа не было.

— Что же ты молчишь? — воскликнул больной. — Сколько решились на это? Ни одного? да, я угадал — ни одного?!

— Да... — тихо выговорил ангел.

Поплавин заломил руки.

— О... — простонал он. — Нет, не надо и мне твоей второй жизни! Не хочу ее!!

И Поплавин повалился ничком... разом наступили тишина и сумерки...

.

— Будьте мужественны, друзья мои! — ответил профессор семье Поплавина. — Надежды нет никакой: он уже бредит, начинается агония... не беспокойте его!..

Из спальни донесся глухой стук, как бы от падения чего-то тяжелого.

Хозяйка дома распахнула дверь и все увидали, что на полу у кровати неподвижно лежал Поплавин.

Он был мертв.

Новый Сад, 1923

чудо

Я сидел на некрашеной лавочке перед крутым обрывом и глядел на белые дали и черные, еловые леса противоположного берега; глубоко внизу, в отвесных стенах, изгибалась снежная гладь широкой реки; неподалеку от меня, вокруг крестов и пяти голубых, полинявших главок вросшей в землю церковки, с криком кружились галки; за пустырем начиналась слободка; вдоль низеньких домиков тропками тянулись затоптанные мостки для пешеходов; улица была безлюдна; за бесконечной длиной ее сумрачное зимнее небо мешалось с колокольнями; смутным хаосом, в дыму и тумане, раскидывался город.

Пахло оттепелью.

— Извините, не обеспокою я вас?.. — проговорил чей-то окаящий, медлительный голос.

Я оглянулся и увидел пожилого, плечистого мужчину с клоком пегих волос на подбородке и со строгими, щедринскими глазами под сросшимися русыми бровями; одет он был в сильно потертое теплое пальто, голову покрывала широкополая, тоже поношенная шляпа.

— Нисколько, пожалуйста!.. — отозвался я, отодвигаясь к краю скамьи.

Незнакомец сел и оперся руками в серых варежках с алыми запястьями на толстую, светло-желтую палку. Мне почему-то показалось, что он был из духовных.

— Совсем весну Бог послал!.. — сказал он. — Того гляди таять начнет!

Он обвел долгим взглядом просторы заречья.

— Чудно!.. — проговорил. — Ну до того здешние места на наши походят, что и изъяснить нельзя!

— А вы откуда?.. — любопытствовал я.

— Белорусский я... по делам приехал. Будто я над Видьбой над нашей сажу!.. И улица совсем как наша, Богословская, к храму выходит... Нынче, впрочем, она в Комсомольскую переименована!

— А церковь запечатана ?

— Н-е-е-т!.. — убежденно возразил он. — Где же?.. нешто возможно теперь?

— Отчего же невозможно ?

— А уж так!.. — незнакомец перевел на меня глаза и как отрубил: — чудо у нас было!

Должно быть, на моем лице против воли мелькнула улыбка и он заметил ее.

— Врать не стану! — добавил он, — я не из товарищей, в свое время в университете был!

Я удивился: очень уж не походил на бывшего студента мой собеседник.

— И кончили? по какому факультету? — спросил я, стараясь не дать заметить своего недоумения.

— По философскому... только я со второго курса ушел!

— Почему? Из-за чего ?

— Из за тарарабумбии...

— Надебошили, что ли, круто?

Незнакомец отрицательно качнул головой.

— Нет, философия заела: сызмальства я ею увлекался!.. Был со мной такой случай... пустой, будто, а многое из него для меня обнаружилось!.. Проходил я как то близ кладбища, а навстречу мне, гляжу, похороны приближаются, важное лицо какое-то хоронят — впереди музыка, венки, позади сотни две провожающих, все с цветами, лица опечаленные. Особенно капельмейстер в глаза кинулся — толстый, морда красная, усы рыжие на грудь свисают. Насупротив меня шествие остановилось, литию отслужили, вечную память спели и дальше двинулись, а я по своим делам направился. Так через часок вертаюсь я к тем же местам и вдруг слышу — музыка марш ударила ! Я скорей к углу — смотрю, музыканты домой возвращаются — сразу их по мордачу признал! А по тротуарам публика черным горохом катится. И все веселые, развеселые, будто из-под качель на масляной; шутки шутят, пересмеиваются. А музыка к-а-к хватит «тарарабумбию» — лошадь на улице извозчичья, заморенная стояла, так и та на дыбки вскочила, танцевать начала!

Вот этого я уж и не выдержал, запил!.. У меня и отец по-

томственно испивающий был — из купцов мы из мелких. Рюмочка, да трубочка, да опять рюмочка, университет я бросил и до босяцкой команды и докатился!..

Он умолк и сплюнул.

— Вспомнить погано!.. — добавил.

— Почему же на вас так тарарабумбия подействовала? — спросил я.

— Внедрилось в те годы в меня, что не стоит ни над чем трудиться на свете!.. как ржа разъедала мысль, что прах и тлен все; шар земной и тот когда-нибудь разрушится и уничтожится и будь хоть семи пядей во лбу — все одно никто и никогда не узнает, что ты жил и что делал. Работай, значит, только для того, чтобы было что жевать нынче, а ешь, чтобы завтра опять спину ломать. На коего же беса эта вся канитель нужна? Многие из молодежи тогда пессимистами были, иные даже кончали с собой... Скорбь мировая!.. А тут тарарабумбия! Только что вечную память посулили, и вдруг пожалуйста — танцы с лошадиным участием! Ложь человеческая уж очень обнаружилась — на пять минут этой вечности хватило !

— Можно быть веселым и помнить об утрате!.. — заметил я. — Но скажите, отчего вы так огорчились, что ваше имя не перейдет в века?

— Не о себе я думал, а о человечестве. Смысла жить не стало! Чего я ни перехватал тогда — и Канта, и Спинозу, и Шопенгауэра — он тогда в большой моде был! И когда прочитал — понял, что и самая высота высот — философия — не наука, а гимнастика для праздной болтовни: выжмите пуд томов ее — дай Бог, чтобы хоть с горсточку чего-нибудь дельного набежало!

— Что есть истина?.. — полушутя сказал я.

— Вот, вот!.. — подхватил мой собеседник. — Одна только доподлинно великая книга и есть на свете — евангелие. Выше его уже никакие Канты не достигнут!

— Как же вы от босячества к евангелию перекатились?

— Чудо было, я вам уже рассказывал... Революция меня на Хитровом рынке застала; повертелся я там некоторое время и к себе, в свой город, воротился. А за слободкой цер-

ковка у нас на отлете стоит над обрывом — может, еще круче он, чем здешний ; по отвесу его тропочка петли петляет, к воде сбегает. Поп старый был, маленький, под стать церковке, да глухой — криком ему на ухо кричать надо было, чтобы услышал. Такой же и дьячок, тетерев красноглазый, жил. Обоим за полтора ста лет было; службу начнут служить — потеха! Народу мало ходило, больше бабский пол присутствовал. Дьячок поет, а сам церкву метет. Один в алтаре возглашает — «и сподоби нас владыко», а другой сидит на корточках перед печкой, мешает в ней кочергой и козлом «иже херувимы» выводит; иной раз головешка попадетса, приметса колотить ее, да на всю церкву — «о, чтоб тебя разорвало» добавит.

Вдругорядь дьячок перегонит — отче наш поет, а батя в это время великий выход делает! Да тут же и поссорятся, чисто как дети! И смех и грех глядеть было!

— Как же их не убрали?.. — спросил я.

— А вот так и не трогали! Справедливость-то часто преступлением бывает. Прихожане очень их любили: вдовы оба старика были, бессребреники, рубаху последнюю у них попроси и ту отдали бы! А службу в каком порядке ни служи — она все той же останется: народ не на слова, а на человека смотрит! Жили они вместе в одном домишке — он неподалеку за церковью стоял. И куликнуть любили: по одной выпьют, глядишь, уж оба пьяненькие, сидят рядом, что воробушки, смеются либо из церковного вразброд поют.

Вот они-то и пригрели меня, сторожем взяли; семь лет я с ними и прожил. И что удивительно — они пили, а я у них от пьянства отстал: вошло в голову, что старичков своих я оберегать должен! И никуда бы я от них по сей день не ушел — очень уж свободно и хорошо было!.. Звон один на колокольне чего стоил — без молитвы им с Богом беседуешь! Ну, да судьба наша не от нас зависит; года три тому назад оборвалось это житье: прошел слух, что под самое Рождество Христово к нам комсомольцы собираются пожаловать: антирелигиозный фронт в нашем городе развевался! И так эта весть нашего отца Ивана встревожила, что и сказать нельзя: по ночам стал бредить — вскочит со сна и

кричит благим теноришком: «Не допущу!.. не допущу во храм!.. Изыдите, силы бесовские!» — До того доволен был, что слег, в жар впал, людей узнавать перестал и все рукой будто крест наперстный брал с груди, вперед его выставлял и «да воскреснет Бог» шептал.

А в полдень сочельника как сорвется вдруг с постели — откуда и силы взялись, — глаза дикие, расширенные; хотел что-то сказать да вдруг поник головой и у нас на руках и повис: сразу кончился!

Добежал я до церкви, в колокол ударил по покойнику, люди сошлись, священника из города вызвали, все сделали и отслужили что надобно.

Остались в доме мы вдвоем с дьячком Ермилычем и с покойником... А уж на дворе сумерки пали, слободка огоньками обрызнулась. Слушаю я чтение, а на душе беспокойно — и отца Ивана жалко, и грызет что-то; все гостей непрошенных жду!.. А дьячок как угадал мою думу: поднял от евангелия лицо, очки оловянные отвел на лоб, усмехнулся эдак хитростно да и говорит: «Не допустит он, будь покоен!» и на покойника подмигнул. Так это мне чудно показалось, — думаю, уж в уме не повредился ли старик, не заговариваться ли стал?

Зачитал опять дьячок, а я присел в уголке на стул, гляжу на о. Ивана... озабоченный такой лежит, будто думает что-то. И чувствую, что глаза у меня слипаться начинают — очень уж замытарились мы с дьячком за последние дни! Ну, смекаю, нет — спать при покойнике не полагается!

Разинул я их пошире, а веки сами собой стали смыкаться. Ключнул я носом, очнулся, глянул кругом — за окошком тьма полная; церковь наша уже вся огнями изнутри освещена, народа в ней множество... священник городской всенощную в ней служить должен был!.. И хотел встать, сменить Ермилыча, да так и застыл и душа у меня в пятки ушла: покойник голову приподнял, глянул на дьячка, потом на окно, осторожно спустил на пол парчевой покров, свесил со стола ноги, сгорбил и, крадучись, заспешил к двери. Попытался я вскочить — ни голосу, ни силы нет, двинуть ни рукой, ни ногой не могу — все отнялось! А Ермилыч

уткнулся носом в евангелие и о потоплении тивериадских свиней бубнит и ничего не примечает!

Сомлел я, должно быть, с испугу — шибко-шибко закрыжилась голова и все из глаз поплыло. Слышал только, будто в бубны где-то стали бить, трубы затрубили, голоса многие закричали. Очнулся, гляжу на стол — пуст он, простыня на нем белая сбитая лежит, подушка примятая, а покойника нет! Вдруг дверь приотворяться стала, за нею мертвец чернеет; выставил он в щель голову, огляделся и опять скорехонько, клубочком, к столу... лег на свое место, руки на груди сложил и вытянулся.

В лихорадку меня бросило! Вскочил я, креститься давай. Потом к дьячку метнулся.

— Ермилыч?! — сиплю. — Видел?! ..

Он снял очки.

— Ну почитай, почитай! — ответил. — Устал я, признаться!..

Я его за оба плеча ухватил и затряс: голосу дать с перепугу не могу.

— Вставал он сейчас! видел ты это?!..

— Ну, выпил так и хорошо!.. — отвечает. — А я не могу, захмелею! Я свое потом на радостях выпью!

Что станешь с глухим делать? Господи, думаю — да неужто же спал я и сон мне пригрезился?!..

Взялись мы покров на место класть — сердце у меня как екнет: смертные туфли покойника все в свежем снегу налипшем! Я на них пальцем Ермилычу тычу.

— Откуда снег?!.. — бормочу.

Тот нагнулся, поглядел, обтер их рукою.

— По пороше в царствие Божие идет!.. — проговорил. А глаза как у безумного светятся.

Покосился я на лик отца Ивана. И сразу страх отвалился от сердца — просветлевший лежит покойник, улыбается...

Перевел взгляд на окошко — там чернота, ни звездочки, ни огня не видать. Отошла, стало быть, всенощная! Не могу понять, чему Бог привел свидетелем быть — сон ли привиделся, чудо ли произошло? Но зачем же усопшему оживать было, уходить куда-то?.. Так до свету глаз и не сомк-

нул, понятно!

А наутро смотрю, люди к нам спешат, как на пожар будто; иные бегом бегут, крестятся.

Вышел я на крыльцо, обступили меня.

— Жив отец Иван?!... — спрашивают.

— Вот вам и раз!.. — отвечаю. — Вчера все вы сами его на столе видали! Завтра вынос будет!

— А вот, сказывают, будто жив он! — враз несколько голосов заявляют.

— Видели его, будто, вчера вечером?

— Да знаешь ли ты, что вечор случилось?.. — поперебой другие шумят. — Комсомольцы все в Видьбе, в проруби потонули!!!

Меня как обухом треснуло!

— Да что вы? Как, каким манером?!..

— Отец Иван их у церкви вострел, да за собой по тропке с горы и повел. А склизко было — все как есть они и посорвались да в полынью и попадали... пьяные, понятно! Только один уцелел, вот он; сам сейчас объявился!

И выпихивают вперед малого лет двадцати; на нем ряса черная, из огромнейшего кармана четверть с водкой торчит, в руке за спиной митру архиерейскую держит, прячет, значит: стыдится! Сам весь бледный, без шапки, волосы ершами торчат...

— Ты видал вчера отца Ивана?... — спрашиваю его.

— Я! — отвечает.

— А допрежде знал его?

— Нет. Люди сказали, что то он был. Маленький такой, седой, с бородкой реденькой!

А народ на нас наседает кругом.

— Да не держи зря!.. — галдят. — Допусти до горницы, пущай удостоверится!

Отворил я дверь. Залец сразу битком людьми набился; креститься все начали.

Подошел комсомолец к покойнику, глянул на него.

— Он! — выговорил. Да как рухнет перед ним на пол в земном поклоне, как заплачет!

Подкатило и у меня к горлу; вижу, что нельзя и мне по-

таить того, что видал! Так и так, заявляю, братцы!.. вот чему я свидетель этой же ночью был!

Господи ты мой, что тут поднялось — плач, вопли; руки, ноги у отца Ивана лбызали!.. похороны какие необыкновенные были!

Коммунисты хотели не допустить их, да уж куда тут было — народу, может быть, тысячи сошлись! А комсомольцев целых два дня из воды баграми вылавливали, пять возов тел наклали и увезли. Ряженные все были — кто Саваофа изображал, кто патриарха, кто Богородицу и жандармов пьяных... воистину свиньи тивериадские!..

Вот и рассудите — сон то был, или еще что? А я резюме вывел такое — не понимаем мы, а в смешном-то часто святое таится! — Он замолчал и задумался.

Из-под края мрачных облаков блеснул алый шар заходящего солнца; неожиданно наступил час Страшного Суда: — и земля и небо вдруг вспыхнули в стихийном всеобщем пожаре. Низко висевшее небо превратилось в изрытый свод чудовищной раскаленной пещеры: с него струями хлынуло расплавленное золото; весь воздух заполнился путаницей из бесчисленных нитей — хлопьями повалил снег.

Зрелище было необычайное и недолгое; пурпур и багрец стали бледнеть, зажелтели и залиловели просветы, снегопад прекратился; первой погасла, отодвинула дали и захладела земля; снежная пелена на ней сделалась розовой, потом посинела. Последними померкли кресты церковки.

Я хотел спросить своего соседа о дальнейшей судьбе дьячка Ермилыча и оглянулся, но его уже не было: грузная фигура философа мерно шагала по за вечеревшему белому пустырю к слободке.

КРЕСЛО ТОРКВЕМАДЫ

Я каждое воскресенье встречался с Мошинским на Подоле, в Киеве. По этим дням обширная площадь около Братского монастыря и проулок, ведущий к Днепру, превращались в шумную ярмарку, где за треть цены можно было приобрести все, что угодно; ближе к тротуарам теснились ряды столиков и брезентов, разостланных прямо на земле; на них грудями лежали книги, рукописи и всякие старинные вещи; публика вокруг них толпилась своя, особенная, «серьезная».

Мошинский был небольшой и невзрачный, пожилой человек в очках, всегда одетый в поношенную шубу с вытертым кенгуровым воротником или в выцветшее пальто; длинные, но редкие, седые волосы его зимой прикрывал теплый уродливый картуз, летом старая фетровая шляпа.

Вид у него был небогатого мещанина, но если он подымал глаза — большие, серые, увеличенные очками — в нем угадывался ученый. Торговцы сообщили мне его фамилию, лично же с ним знаком я долго не был.

Обход книжных рядов он совершал медленно; взяв заинтересовавшую его книгу, развертывал ее не торопясь и подолгу знакомился с ее содержанием; торговцы относились к нему с уважением, даже приберегали специально для него некоторые находки.

Скоро я приметил, что этот бедно одетый человек в деньгах не стесняется: раза два-три при мне он степенно, как делал все, раскрывал шубу, доставал из бокового кармана бумажник и платил по сто и более рублей за то, за что я не дал бы и половины; книги и вещи он покупал только имевшие отношение к мистике.

Если, пройдя торг в один конец, я не встречал своего незнакомого знакомого — я начинал несколько беспокоиться и сам ловил себя на этом. Но почти всегда в таких случаях оказывалось, что он просто опаздывал и я, возвращаясь по другой стороне проулка, с удовлетворением встречал его.

То же, видимо, испытывал и Мошинский: скоро мы начали улыбаться друг другу и кланяться, а потом и познакомились.

Услыхав мою фамилию, он как-то особенно внимательно взглянул на меня.

— Вы не брат известной теософки? — спросил.

Я ответил утвердительно. Его имя было не совсем обычное — Никодим Павлович.

Мошинский пригласил меня посетить его и дня через два я под вечер зашел к своему новому приятелю. Жил он близ Десятинного собора, в собственном доме.

У ворот пришлось позвонить. Точно под дугой, важно и глухо звякнул колокол; калитку отворила пожилая дворничиха; за заросшим травой двором вставал запущенный, давно не штукатуренный двухэтажный домик-особняк времен Николая I; за ним зеленели деревья сада.

К дому вела дорожка, выстланная плитами; я поднялся на невысокое крыльцо с двумя пологими каменными лестницами по бокам и, позвонив снова, открыл незапертую дверь.

В небольшой прихожей, у двух стен, стояли коники для лакеев, но, кроме вешалки да знакомого мне пальто и шляпы хозяина, ничего и никого не было.

Почти сейчас же выглянул из соседней комнаты и он; на нем был черный бархатный пиджак и очень короткие коричневые брюки, обнажавшие порыжелые голенища сапог.

— А, а?!.. — воскликнул Мошинский, торопливо идя на встречу; лицо его осветилось улыбкой. — Очень рад, пожалуйста!!..

Мы вошли в гостиную времен Александра I, с мебелью из золотистой карельской березы с очень потертой шелковой малиновой обивкой; стену украшали два больших портрета и несколько миниатюр в бронзовых рамках-ампир.

Всякая вещь соответствовала другой; сразу видно было, что они собирались не по старьевщикам, а хранились в полной неприкосновенности в семье с давних дней. Пыли нигде не было и следа — все находилось в чистоте и строгом порядке.

Из гостиной хозяин ввел меня в просторный кабинет, очень походивший на магазин старьевщика; первым бросилось мне в глаза высокое кресло с прямой спинкой, стоявшее на возвышении, на маленькой кафедре; на сплошной кожаной обивке его были вытеснены какие-то вензеля и рисунки; еще можно было различить следы позолоты и раскраски. Мебель кругом была старинная, но разнокалиберная; у стены грузно темнели шкапы; в приоткрытые дверцы их виднелись корешки книг.

Большой письменный стол — единственная современная вещь — покрывали старинные безделушки, физические приборы и рукописи; ими же были завалены два других черных стола; пыль слоями покрывала все — уборка в этой комнате, видимо, была строжайше запрещена.

Хозяин указал на широкий кожаный диван и предложил сесть, а сам поместился против меня, в низеньком кресле.

— Здесь все средневековое!.. — сказал Мошинский, заметив внимание, с каким я разглядывал вещи. — Я несколько лет провел в Испании и почти все это вывез оттуда... Это стул Торквемады... — добавил он и кивнул на возвышение.

— Вы убеждены в этом? — осторожно спросил я, — теперь везде такая масса подделок...

Мошинский отрицательно качнул головой.

— Знаю! Но я купил его не у антикваров, а в Севилье, из подвалов собора, у сторожей. Торквемада, сидя на нем, присутствовал на пытках и присуждал людей к сожжению на костре... тысячи! — внушительно добавил он и умолк.

Я осмотрел кресло. Древности оно было несомненной. Мошинский указал на вытесненный на нем вензель, затем взял со стола толстую книгу, отыскал в ней какой-то рисунок и подал мне.

— Смотрите?.. — проговорил он.

Я сличил герб и вензель спинки кресла с имевшимся в книге; все оказалось тождественным; подпись под напечатанным рисунком гласила, что это знак и печать знаменитого инквизитора.

— Деньги всеильны!.. — заметил я, убедившись в верности слов хозяина и отдавая ему книгу. — Вещь весьма почтенная!

Около кресла, на стене, висел лист картона с прикрепленными к нему железными, странного вида щипчиками, ножами, крючками и подобиями груш; на полу под ним лежали зажимы, огромная ссохшаяся кожаная воронка, топоры.

— Орудия пытки... — проронил Мошинский. — Этот ножичек на длинной рукоятке служил для вырезывания языков; щипчиками вырывали ногти, грушу впихивали в рот, затем завинчивали в ней винт, она распиралась и разрывала губы; воронку вставляли в горло и вливали воду из ведра, пока человек не раздувался.

— Вот не предполагал я у вас такой коллекции!.. — воскликнул я.

— У меня нет коллекций... — возразил Мошинский. — У меня есть только нужные для моей работы предметы!

— Не понимаю... следов «Сада пыток» у вас не замечаю?..

Мошинский не ответил и поднял очки на лоб.

— Скажите, вы верите в потустороннее?..

Я ответил утвердительно.

— А верите в то, что сейчас вокруг нас вот здесь, между вами и мной, стоят и движутся невидимые существа, проносятся тысячи звуков, сцены даже из жизни других планет?

— Не знаю... не предполагаю!.. — отозвался я.

— Но кинематограф-то признаете? рисунки, передаваемые на расстоянии, видели? музыку по беспроводному радио слышали?

— Слышал!..

— Значит, они есть кругом нас! Сейчас, быть может, гремит оркестр, звонят колокола, бегут толпы людей, а мы видим только стены этой комнаты... по-нашему, кругом тишина... А приемник радио слышит и видит! Мы слишком грубые аппараты и слишком поверили в силу разума!.. Но все же иногда мы что то смутно улавливаем — отсюда наша нервность, предчувствие и — самое важное — ясновид-

дение! Вы слыхали о новых Милликановых лучах?

— Кое-что...

— Это могущественнейшие из сил, посылаемых нам небесной бездной! Их сила чудовищна: солнечный луч не может проникнуть сквозь тончайшую металлическую пластинку. Рентгеновский задерживается листом в два миллиметра толщиной, а звездный пронизывает слой металла до восьмидесяти миллиметров! Любая каменная стена, любая броня пробиваются им. В самую глухую тюрьму он может внести что угодно — свет, звук, изображение, может убить и взрастить, даже изменить природу вещей! Да, да, это так!

Вот это открытие и заставило меня обратить особенное внимание на средние века...

— Почему?

— Потому что тогда человек более чутко и непосредственно воспринимал все. Он стоял на верном пути... мы потом потеряли его чутье!

— Это вы про алхимию так говорите?

— Про астрологию. Мы не верим во влияние звезд на людей, в гороскопы, а вот на пороге двадцатого века открылось, что древние были правы, что именно под влиянием звезд слагается наша судьба! Сила лучей, даже самых слабых — солнечных — и их действие на все в мире огромно, а звездных неизмеримо: это тот философский камень, который когда-то искало человечество!

— Область для меня малознакомая!.. — отозвался я. — Но не слишком ли вы преувеличиваете значение этих лучей? Я не отрицаю его, но надо что-то оставить и на долю собственной психологии человека!

— Таковой нет!

— Как нет?!

— Нету!.. это просто пустое место! Вероятно, граммофонные аппараты тоже воображают, что они великие певцы и мыслители!

— А Шекспир, Достоевский, Толстой — это тоже аппараты?

— Разумеется! И что вы, собственно, понимаете под словом «психология» — душевные движения?

— Да!

Мошинский тихо засмеялся и сдвинул очки на переносицу — у него была привычка то подымать их, то опускать во время разговора.

— А вы не замечаете забавной вещи?.. — начал он, — возьмите хотя бы Достоевского, ведь вместо любого действия или мысли, герои его могли бы с таким же успехом и правом поступить или подумать совсем наоборот? Например, Раскольников пошел убивать старуху, а затея его могла кончиться не убийством, а необыкновенной дружбой его с ней и это тоже было бы психологически верно, как убийство! Я лично знаю такой случай: один господин решил застрелить другого, взял револьвер и отправился в засаду. А по дороге услышал писк: в канаве утопал выброшенный щенок. Он достал щенка, положил его в карман и унес домой, а убийство так никогда и не осуществилось! Есть ли что-либо курьезнее такой псевдонауки? Попробуйте в любой другой области, ну хоть бы в архитектуре, построить что-либо «наоборот»!!

— При чем же все-таки здесь орудия пыток?..

Мошинский опять поднял очки.

— Нужно выявить и зафиксировать то, что пока незримо несетя или творится вокруг нас! — сказал он. — Надо скопить лучевую энергию, чтобы пробить стену, отделяющую нас от потустороннего мира; хочу осветить и заставить звучать пространство — вот моя задача! Поэтому мне необходимы предметы, пропитанные излучениями людей — они притягивают звездные. Вещи культа и пыток самые сильные — они в своем роде заряженные лейденские банки, особенно кресло Торквемады!

— И как идут ваши опыты?

— Идут!.. — загадочно повторил Мошинский, — еще немного и «т о т» мир будет открыт!

Сгустились сумерки; в кабинете сделалось полутемно; кресло и орудия пыток черными пятнами рисовались на стене.

— А как вы дошли до вашей мысли? — спросил я несколько погодя.

Задумавшийся Мошинский встрепенулся.

— Нечаянно!.. — отозвался он. — Со мной произошел странный случай, ясно доказавший мне, что мы слепцы даже в духовном смысле... вам будет интересно послушать?

— Очень, очень!.. пожалуйста, расскажите!

Хозяин опять переместил очки.

— Этот дом я купил тридцать лет назад!.. — начал он. — Приехал я из Петербурга и стал искать квартиру; мне указали на этот дом... владела им некая здешняя же помещица. Прикатил я к ней, вхожу в переднюю, затем в гостиную и чувствую что-то странное: видел я, будто, где-то эту комнату — и кончено! между тем, в Киев попал я впервые в жизни! Появилась хозяйка — приветливая такая, благообразная барыня в черном. Разговорились мы с ней — оказалось, к дочери за границу собралась уезжать.

Повела она меня дом показывать; входим вон в ту комнату и меня будто удержал кто-то у порога.

— Скажите?.. — спрашиваю, — за этой дверью слева горка с фарфором стоит?

— Да!

— А за ней буфет резной, особенный, в виде часовни готической?

— Да!... — повторила. И удивилась, — когда же это вы у меня побывали? Извините, я вас что то не помню?..

Я ответил и скорее в ту комнату! Знаю ее и кончено! каждую чашку в горке и ту будто бы вчера в руке держал! Смотрю — коридор на меня черной дырой уставился... все знакомое... рукой должен был сердце придержать — так оно забилося! Дух даже захватило. Силюсь вспомнить — и ничего не могу. Глаза помнят, а мозг нет!

И вдруг — сам не знаю отчего — я предложил продать мне дом целиком со всеми вещами. Она обрадовалась и через неделю я гулял в нем полным хозяином.

Много часов я простоял в каждой комнате и все пытался дознаться — где и когда я их видел? — как занавес висел перед глазами! И что еще странно: чем больше я напрягал мысль — тем более забывал подробности; первоначальное, ясное впечатление точно стиралось и угасало. Зато выяв-

лялось все резче другое — стала тянуть к себе дверь коридора... самая обыкновенная, вот взгляните сами!..

Мы поднялись и вошли в столовую; слева, в горке, белел фарфор; против нее высился фигурный буфет художественной, итальянской работы; дальше чернел вход в коридор; по сторонам его висела пара каких-то небольших, неразличимых портретов... ничего особенного я не приметил и не почувствовал.

Мы вернулись и сели.

— И чем дальше, тем тяга эта становилась все сильнее!.. — продолжал Мошинский. — Я стал наводить справки у соседей — не случалось ли на их памяти чего-либо особенного в доме — никто не слыхивал! Один знакомый посоветовал обратиться в полицейский архив. Я заплатил чиновнику и через неделю у меня в руках было дело 1831 года об убийстве с целью грабежа в этом доме его владельца... из протокола явствовало, что убит он был сзади топором у двери в коридор, а убийца прятался за диваном, на котором вы сидите!..

Я невольно покосился назад, затем на дверь.

— Но при чем же в этой истории вы?..

Мошинский пожал плечами.

— Не знаю!.. полагаю, что в прошедшей жизни я был близким другом убитого! Он был пожилой человек и, как я, одинокий... Что меня изумило, так это свидетельство протокола, что он занимался алхимией. Алхимик в России, в тридцатых годах — разве это не удивительно?!..

— Странная история!.. — сказал я. — И что же, слышали вы в доме какие-нибудь шорохи, стуки, видели что-нибудь необыкновенное?

— Ничего!.. — отозвался Мошинский. — Но эта история, в связи с новейшими открытиями, натолкнула меня на идею устройства лучевого аккумулятора. И когда я пробовал наводить аппарат на комнаты, то разбирал отдаленные, тоже знакомые как будто, голоса, шлепанье туфель, шаги!.. Но аппарат еще слаб... еще несколько месяцев, я исправлю, закончу его и тогда приглашу вас на великое торжество из торжеств!..

Недели через две я должен был уехать из Киева и вернуться в него только через полгода.

Один из первых моих визитов был к Мошинскому.

Запертую дверь в переднюю отворила приземистая, плотная, поразительно походившая на бульдога дама в коричневом старомодном платье; бурые волосы ее были собраны на затылке в виде скрученного жгута, руки сжаты в кулаки и как бы изготовлены к боксу. Вид у нее был самый энергичный.

— Вам кого?.. — спросила она угрожающим тоном.

Я назвал имя своего приятеля и себя и добавил, что уезжал и пришел его проведать.

— А, приезжий!.. — милостивей произнесла дама и отступила от двери. — Входите! А то все какие-то старьевщики лезут! Вот уж знакомства позавел себе дядюшка!

— Так вы племянница Никодима Павловича? — осведомился я.

— Да. Марьей Игнатьевной зовут меня!... Пожалуйста, милости прошу!

Она сразу преобразилась в добродушную хлопотунью и повела меня за собой.

Мы вошли в знакомую гостиную; я спросил о Никодиме Павловиче и в ответ увидел удивленный взгляд.

— Так вы ничего не знаете?! — воскликнула Марья Игнатьевна.

— Ровно ничего! Вы меня пугаете?.. что же случилось?..

— С ума сошел дядя!..

— Да вы шутите, конечно?!

— И не думаю: аппарат какой-то он все изобретал, так вот от этого! Доктора говорят, что изобретатели все полусумасшедшие!

— Где же он?

— Здесь, конечно: не отдала я его в больницу! Во второй этаж пришлось перевести — все бежать пытался из нижнего. Ведь что он натворил-то: взрыв страшный, пожар; едва успели загасить и его самого вытащить. Почему-то особенно боится столовой — с трудом приходится проводить его через нее в ванную!..

— Но, надеюсь, ненормальность у него временная, есть надежда на его излечение?

Марья Игнатьевна махнула рукой.

— Да уж изверились мы!.. Сначала буйный он был, бросался драться на людей, потом прятаться стал — мания преследование у него развилась! Ужас, что мы пережили: один раз из петли его вынули — удавиться хотел! И все умолял аппарат его уничтожить, а от него и щепки не осталось — в порошок разнесло! Теперь тихий стал, смирный, только все разговаривает с кем-то; хохочет иногда...

— Можно повидать его?

— Можно, конечно, но сейчас не советую: он будет нести такую чепуху, что ничего не понять! А вы приходите проводить его в среду — послезавтра, значит!

— Почему в среду?

— Да уж так! Доктора и те диву даются: по средам он просыпается совсем здоровым; часов с шести утра и до полудня он в полном сознании, а потом опять помутится... Каждую среду так!..

Мы побеседовали еще немного, я простился с Марьей Игнатьевной и ушел.

В среду я запоздал и лишь в начале двенадцатого часа вошел в гостиную Мошинского. Он был там же и с очками на лбу что то делал, нагнувшись над столом с альбомами.

Услыхав шаги, он опустил очки и оглянулся.

— А, гость милый?!.. — возгласил он и заспешил мне на встречу. — Как я рад, как кстати вы пришли!... пойдем, пойдемте ко мне!

Он потащил меня за рукав наверх и мы очутились в небольшой, уютной спальне с маленьким синим диваном и письменным столиком.

— Знаете, ведь я с ума сошел?.. — начал он, понизив голос и заперев дверь на ключ. Я сел на диван, он подвернул ногу и боком поместился на кровати.

— Да, да!! так думают все, между тем в действительности — я только сделался нормальным человеком, а раз в неделю кругозор мой суживается, тускнеет, я возвращаюсь

в клетку! Конечно, от обычных житейских норм это далеко, по-своему люди правы!

Я незаметно всматривался в Мошинского, но никаких признаков душевного расстройства в лице его не находил: на мой взгляд, он сделался несколько нервнее, суетливее, торопливее стал говорить — и только.

— Что же случилось с вами?.. — спросил я.

Он схватился за виски и стиснул их.

— Ужас!... Помните, я вам говорил о стене, отделяющей нас от потустороннего мира? Мои лучи по моему недосмотру внезапно вырвались и пробили ее! Я увидел все!!.. доктора болтают о галлюцинациях — нет, это только скрытая от людей действительность!..

— Да что же произошло?!.. — продолжал я допытываться.

Мошинский снял очки и положил их на столик.

— Я кончил свой аппарат. Днем, в три часа, он был готов, заряжен и поставлен в кабинете на стол. Я достал из шкапа книгу и стал отыскивать нужную справку; в это время услышал слабый треск, но не обратил на него внимания — между тем, теперь для меня это несомненно — отчего-то соединились провода в аппарате! Продолжаю читать и чувствую, что из-под локтя у меня растет что-то огромное, серое... повел глазами — у самого лица моего громадная морда чудовища — пещерного медведя с разинутой пастью! Я хотел крикнуть, броситься прочь — и не мог — замер! Потом очнулся, рванулся вбок и наступил на связанного человека в средневековом платье — он лежал весь залитый кровью; диван исчез — вместо него вижу бревно на ножках — кобылу; к ней с заткнутым ртом прикручен полуголый человек: два палача вырезывали у него ремни из спины! Я весь потом облился и назад — там в кресле сидят мощи человеческие — высокий, изможденный старик в сутане... глаза мертвые, впалые... Торквемада!... Что развернулось передо мной — не передать! Был хаос; мчались всадники, погони, охоты, резали людей, пировали, веселились, гремели крики, подходил с гривой дыбом лев, только что растерзавший негра!... Я ринулся бежать — и чуть не угодил под топор:

чернобородый мужик в синей рубаше взмахнул и ударил им по голове полного барина в пестром шлафроке... я прочь!.. Аппарат попался мне под руку — я его об землю!.. Сверкнула молния, меня отшвырнуло... помню стопушечный удар грома... и я потерял сознание!..

— Аппарат, значит, погиб?

— Да, слава Богу, я бы его все равно уничтожил: нельзя человеку заглядывать за стену!..

— И больше подобных видений у вас не бывает?

— Бывает, только в тысячной доле: лучи ушли, но пробили в моем зрении брешь в потустороннее! Я теперь человек, стоящий у щелки и видящий самую малую часть океана видений и звуков. Например, вижу, что из-за спины у вас подымается черная кобра — она живет в этом диванчике...

Я в испуге сорвался с места и огляделся — так убедительно были произнесены эти слова. На диване ничего не было и я опустился обратно; внизу, в столовой башенные часы глухо и важно пробили двенадцать.

Мошинский как бы не заметил моего порывистого движения.

— Со мной говорят люди разных эпох, — я отвечаю!.. — продолжал он: — не могу же я быть невежливым? Слепые уверяют, что это мои галлюцинации... вздор чистейший!..

Он делался все возбужденнее; темно-серые глаза его стали излучать тусклое сияние, близкое к лунному; речь сделалась бессвязной. Он вскочил и быстро заходил по спальне.

В дверь к нам постучали.

Мошинский разом остановился и приложил палец ко рту в знак молчания.

— Тссс!!... — прошептал он, — не уходите!.. бойтесь коридора — там ждут!.. это злое место!..

Я отпер дверь; за нею с улыбкой на лице стояла Марья Игнатьевна.

— За вами прислали!.. — сказала она, явно с целью выручить меня от больного.

Я стал прощаться; Мошинский крепко потряс мне руку

и проводил до лестницы; дальше он не пошел, вдруг сделался угрюмым, озабоченным и повернул обратно.

Побывать вторично у своего приятеля мне не удалось: я опять должен был уехать из Киева.

Месяца через три, будучи в Одессе, я купил «Киевскую мысль» и, вопреки своему обычаю, начал чтение с отдела происшествий. Меняхватило точно обухом и я, не веря глазам, вторично пробежал довольно длинную заметку. Она гласила, что в ночь на среду домовладелец и собиратель древностей Н. П. Мошинский и его племянница были найдены у себя в квартире у входа в коридор с разрубленными головами; грабители влезли в окно из сада и еще не найдены; судя по оставленным следам, один из них прятался за большим диваном, а другой за дверью в столовой.

Париж, 1925

ХОТИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Крутит ручку кобзы сивоусый дед, тренькают струны,
дребезжит голос, в небо смотрят незрячие глаза.

На траве лежит мальчуган-поводырь; около него рваная шапка деда с двумя грошами на днище. Кругом — кто сидя, кто стоя, — слушают люди. Степная даль вечереет. Поет старый быль о Хотинской крепости...

Худая слава живет о ней!

Захваченные поздним часом проезжие косятся на грозные доселе башни и стены, крестятся и подгоняют коней; черными призраками вздымаются они со скал над тесной Днестра.

Возвел их в незапамятные времена неведомо кто; владели ими потом турки, еще позже поляки. Много человеческой крови приняла земля вокруг крепости — без числа штурмовали ее разноплеменные рати.

Ныне она пуста.

Давно исчезли ворота, двери и окна, осыпаются стены... Тихо и сонно в ней днем — только кобчики жалобно вабят над нею, да ящерицы бегают по мшистым стенам и млеют на солнцепеке, закрыв золотые глаза.

— Ночью иное!

Коль имеешь <...> смело входи в ворота в Иванову ночь.

Все увидишь целым. Слева в окошках гарема мигнет огонь, за узорной решеткой распознаешь в тумане-облачке девушку; у стены под развесистым деревом кучка красавиц — днем они гряда камней.

Притаись за кирпичной осыпью, гляди и слушай! Зазвенит сарбаз, выйдет старый, усатый паша, заблестят на стенах копыя стражей. Услышишь глухие стоны, но Боже

сохрани бежать на них: провалишься в одну из подземных темниц-колодцев, полных человеческими костями, — стонут души умерших!

Ухнет, заплачет над тобой страшный голос, отзовутся на него стены и скалы, но не бойся: это старый филин, живущий в угловой башне над оврагом; крикнет он и улетит прочь.

Позже будет страшнее: почудятся вопли, задвигаются везде тени, красные огни зажгутся в подвале башни...

Чуть забелеет восток — все сгинет из глаз!

Обойди тогда двор, осмотри горницы гарема; все деревянное в них сгнило; у окна растет бузина. Обогни развалины мечети и спустись в подземелье; оно как громадный храм, своды его теряются в сумерках, стены сплошь избиты и изверчены; на плитах пола кучи кирпичей и мусора: клад здесь искали смельчаки.

С триста годов назад полымем и кровью затопил Подолию татарский набег.

Большую добычу захватил он и, на обратном пути в Крым, поднес главный мирза Хотинскому паше за услуги — ларец с драгоценными вещами. Но паша и не взглянул на перстни и камни цветы; приковался он глазами к толпе полонянок: там белой лилией стояла в стороне княжна Вишневецкая.

Оттолкнул золото старый паша — несметно богат он был и без того. Потребовал он девушку; покорно прижали руки ко лбам татары, поцеловали пальцы и отвели ее в гарем паши.

Где бузинный куст растет — там целые дни простаивала у окна княжна, ожидая спасенья. Была ей видна стража на стене, голубело небо; муэдзин четырежды в день кричал с минарета свое ля-иль Аллах... Белой горлицей билась

княжна о решетку клетки, да крепки железо и стены девичьей тюрьмы!

Вскоре ожила сонная цитадель; забегали, высыпали на стены янычары, затворили, завалили бревнами ворота, загорелись фитили около пушек: всех всполохнула весть, что из Каменца, в облаках пыли, приближается польская рать.

Трое панов в малиновых кунтушах с белым флагом подскакали к воротам; длинные фанфары далече разнесли их вызов для переговоров: потребовали гордые паны сдачи крепости и выдачи княжны и всех пленных, иначе сулились разметать по кирпичу весь Хотин.

Усмехнулся старый паша, стоя на башне, плюнул он вниз — «Вот вам мой ответ, безмозглые ляхи!».

Закричали паны, загрозились кулаками и, что степные сайгаки, умчались прочь.

Словно чугунный молот бухнул где то в пустую бочку и польский гостинец-ядро влетело во двор крепости; брызнули и посыпались раздробленные кирпичи из угла мечети.

Заревела в ответ, опоясалась пламенем и дымом цитадель; ядра пробили улицы в польских рядах, черными зайцами заскакали чугунные шары далече по степи. Как Днепр рыбацкий челнок, окружило со всех сторон польское войско Хотин; бурные волны людей бросились на приступ.

Радуются, плачут пленницы, застыв у окошек — ждут избавление через грозу и бурю...

Три бешеных атаки подряд отразили турки; сотни тел

убитых усеяли землю вокруг стен; только ночь прекратила сечу.

Еще сутки кипел бой вокруг крепости; всех храбрее бился белый витязь, жених княжны, но не одолеть было непомерных твердынь!

Решили поляки измором взять турок; отошли хоругви за полет ядра, необозримым кольцом раскинулся бесчисленный стан вокруг Хотина — только ворон мог подать ему помощь.

Побежали за днями дни.

Все сумрачней становился старый паша; осунулись лица защитников, начали умирать от голода люди...

После намаза спустился паша по каменной лестнице из мечети в подземелье; раб нес перед ним зажженный факел.

Выбрал паша один из ходов, уводивший в черную темень земли, и приказал перевести в него пленниц и сокровища.

Понесли мимо паши ковры, тахты, индейские сундуки из драгоценного дерева с золотом, серебряные блюда и кувшины; длинной вереницей прошли полонянки; долгим, тяжелым взглядом проводил паша княжну Вишневецкую.

Дымно горят десятки факелов; кипит работа, сотня рабов возит на тачках кирпичи и известку: паша приказал замуравать все ходы в боковые и нижние подземелья.

Чтобы не догадался враг, где находились они, утолщали все стены; быстро поднялись они до остроконечных, высоких сводов.

Припал ухом к камням старый паша и распознал далекие голоса: пели «Ave Maria». Махнул он рукой, и новая стена стала расти кругом него.

Еще трижды слушал паша, и еще три стены встали, прижавшись к прежним.

С довольной усмешкой оглянулся наконец он: могила была могилой — ни крика, ни звука не доносилось из глубины земли!

Звездной ночью у входа в башню томила толпа уставших рабов; красный свет полосой падал на них из пары бойниц; по двое впускали за железную дверь янычары. Слышались оттуда вскрики, стоны... Ждавшие вздыхали и били себя в грудь, многие крестились — знали, что ждало их за дверью, но от судьбы своей не уйдешь никуда!..

К рассвету не осталось свидетелей, знавших, где замурованы богатства паши..

Человеческими костями и поныне набит глубокий подвал под башней!..

Прознали поляки, что едва держится надоевший им Хотин, решили одним ударом покончить с ним.

Пушки подвезли ближе; загрохотали они, загудела мать-сыра земля, треснула стена; обозначилась, стала шириться пробоина.

Крепость едва отвечала; изредка ахало на стене чугунное жерло и огонь жарким дыханьем вылетал из него.

Загремели трубы и литавры, возвещая приступ; передовой полк польский бросился к пролому. Впереди всех сверкал мечом и серебром одежд белый рыцарь.

Потоком ворвались в пробоину поляки. И вдруг затряслась земля, грохнул удар грома, ураганом взметнулось вверх

пламя, черный дым, кирпичи, балки и люди: старый паша заперся с последними защитниками в мечети и вместе с ними взорвался на воздух.

Каменный град посыпался на головы смельчаков.

Уцелел белый рыцарь!

Рыщет он с жолнерами по всем углам и закоулкам крепости — ищет свою невесту. Но пуст гарем, мертвы тюрьмы, безлюдны башни...

Не могут понять поляки, где женщины и сокровища: замурованы ли они где-либо, утопили ли их ночью в бурном Днестре, взлетели ли к облакам вместе с башней? Ни клочка платьев, ни куска их тел не находилось нигде.

Под грудями развалин мечети заметили засыпавшийся вход. Лопатами, кирками раскопали его; черным зевом глянуло пустое подземелье. Принялись пробивать стены, но где ни пытались — всюду попадали ломы либо на землю, либо на скалы...

С полудня до вечера в дыму и пыли, не складывая рук, работали люди. Избиты и изверчены стены — нет ничего за ними!..

Побросали кирки и ломы жолнеры и слуги, паны хотели увести с собой рыцаря, но он молча потряс головой и один остался в подземелье.

Всю ночь не шевелясь просидел он на камне, слушая — не прозвучит ли что. Под утро часовым на стене почудилось глухое рыданье: кто-то бился о стены в подземелье внизу.

На рассвете виденье показалось на верхушке минарета: человек в белом встал на ограду площадки и ринулся вниз, на плитняк.

Набежали паны и жолнеры, обнажили подбритые головы, ахают: у ног их лежал мертвый рыцарь; черные кудри его в одну ночь превратились в серебряные.

Запустел с той поры Хотин. Только филин один живет в угловой башне его: филин этот — душа рыцаря-самойцы.

Каждую ночь прилетает он в подземелье, лепится к стенам, распластается по ним и хлопает крыльями — все ищет свою невесту. Жутким плачем разносится крик его...

Есть средство обратить его в человека!

Строго пропостись и молись весь великий пост. А в полночь под Светлый праздник с четверговой свечой спустись в подземелье, перекрести птицу и произнеси — «Во имя Отца и Сына и Святого Духа заклинаю тебя: прими человеческий облик!»

Филин превратится в чернокудрого рыцаря в белом.

Обойди с ним кругом подземелье, окропи святой водой стены и с верой громко воскликни: «Христос Воскресе!»

— «Воистину воскресе!..» — грянут со всех сторон души казненных. Подземелье разом осветится; стены обрушатся и перед тобой в сиянии нездешних лучей, среди груд алмазов и золота предстанут живые красавицы-полонянки...

Старые люди бывальщину сказывали, старыми людьми зря слово не молвится !..

Коли чист душой — иди в Хотин. Только о сию пору такого смельчака не выискивалось!..

Замолчала кобза; кончил дед сказывать, расходится по хатам крещеный люд вечерять при огоньке... много будет нынче толков о Хотинской крепости!..

Одесса, 1890

РАЗБОЙНЫЙ ЛОГ

ЛЕСНЫЕ КУРГАНЫ

Велико и глухо Полесье на севере Орловской губернии. Широкой полосой вышло оно с запада, охватило Карачев и Брянск и потянулось дальше, по пескам и болотам, к Калуге.

Вековые сосны почти сплошь составляют его; в самое небо уходят красноватые стволы их с темно-зелеными вершинами. А меж сосен над мшистыми кочками, залитыми черникой и костяникой, то здесь, то там поднимаются седые шатры елей. Под ними нет кустов, — серый мягкий мох ковром выстилает их корни. Кусты и трава под соснами; трудно пробраться там непривычному человеку.

Вечная тишина и полумрак в этих лесах. Изредка хрустнет где-то отпавшая ветка, вскрикнет и постучит в сосну дятел.

Птицы там гибель, а по темным верхам немало попадает и берлог «лесного хозяина».

В это-то Полесье и отправился я на охоту с кучером тетки, в имении которой, Шемякине, я гостил тем летом. Звали его Абрамом.

Он был маленького роста, коренастый, с могучими руками и грудью, обросшими волосами; широкое лицо его скрывала большая рыжая борода; нос был точно расплющенный; темно-серые глаза смело и умно смотрели из-под густых, льняных бровей.

Выехали мы с ним часов в пять вечера. Бодро бежал Богатырь — крепкий степной меринок, запряженный в дрожки. Абрам правил.

Дорога была неблизкая: до лесника Максима, куда направлялись мы, считалось верст сорок; верст десять из них приходилось ехать лесами по пескам и колдобинам.

Солнце уже совсем заходило, когда, наконец, встали перед нами леса; красноватый отблеск еще играл на вершинах сосен.

Длинные тени лежали повсюду; небо было бирюзовое, чистое.

Еще немного — и темная чаща охватила нас со всех сторон.

Дорога пошла по песку; дрожки то и дело стали накрываться набок; Богатырь пошел тише. Ночь окутывала нас все больше и больше.

— Эге-гой? — закричал Абрам, — сторонись!

Навстречу нам спускался с бугра обоз с бревнами и досками; слышался скрип колес и фыркание лошадей, различить же что-нибудь, кроме черных пятен, было нельзя...

Обоз прошел мимо. Дорога сделалась ровнее; густо обступил дорогу кустарник; было тихо...

Лес начал редеть; забелели просветы и мы выбрались на обширную поляну.

Звездное небо глянуло нам в глаза; ехать стало светлее; от росистой травы тянуло холодом. Где-то далеко справа замигали чуть заметные огоньки полесской деревушки; оттуда доносились едва слышная, заунывная песня.

— Ишь, разгулялись, — словно под праздники, — заметил Абрам, иронически, как и все луговые, относившийся к поляхам.

Колеса дрожек запрыгали по корням и темный лес снова обступил нас. Но то были уже дубы; дорога вошла словно в туннель — ни зги нельзя стало различить под переплетшимися ветвями.

— Ну, ночка; хоть убей, ничего не вижу! — сказал Абрам и натянул вожжи. — Как раз угодишь лбом в дерево!

Богатырь пошел шагом. Абрам предоставил ему полную волю, благо умная лошадь знала дорогу.

Темень была такая, что я едва различал своего спутника. Слышал только, как он, закуривая трубку, чиркнул спичкой; на секунду осветилось его лицо, круп лошади и ближние кусты и стволы деревьев.

Наконец, опять несколько посветлело; донесся отдаленный лай.

— Сейчас сторожка! — сказал Абрам и подхлестнул Богатыря.

Темная изба двумя желтыми зрачками глянула на нас с небольшой полянки.

Навстречу вынеслись с лаем собаки; почти сейчас же стукнула в избе дверь и чей-то голос прикрикнул на них.

Я слез с дрожек и вошел в сени.

Кто не знает русской избы?.. Земляной пол, широкая печь, лавки вдоль стен, потемневший стол в красном углу, низкий прокопченный потолок — вот и вся ее внутренность.

За столом, где дымилась чашка со щами, сидели несколько полехов-обозников, заночевавших в дороге. Вечно все серое носит этот народ, начиная с портов и посконной рубахи и кончая шляпами и армяками, которые валяют из белого войлока. Все полехи белокурые, — я, по крайней мере, ни разу не видал черноволосых.

Я пожелал им хлеба и соли и присел рядом. Они потеснились и чья-то мозолистая рука протянула мне ложку.

— Что, барин, поохотиться приехали к нам? — сказал хозяин Максим, высокий, почти совсем седой старик с крупными глазами и носом. Словно резцом прорезаны были морщины на лице его; белая борода спадала на грудь.

— Охотиться, дедушка, — ответил я.

— Вот бы ты, барин, Мишку нам ухлопал? — промолвил один из проезжих, тщедушный, рябой мужичок. — Третью корову он у нас режет!

Полехи разговорились. Пошли рассказы о медведях, об охоте, перескочили и на леших.

Темен люд, живущий в лесах, куда темнее, суевернее лугового народа. Да и как быть ему иным, когда обступил его со всех сторон дремучий бор, на сотни верст разросшийся без просвета, когда во всю свою жизнь только и видит и слышит он лишь вечный шум зеленых вершин — летом, да вой волков и метелицы длинными зимними вечерами. Много, если побывает который из них в ближнем городишке: это уже бывалый!..

— А ну-ка, ребяташки, пора и на боковую? — сказал, подымаясь из-за стола, старый полех, — завтра до зорьки выезжать надо!

Все встали, перекрестились на иконы, поклонились мне и хозяину и вышли из избы, — «под возы спать», как пояснил Максим.

— А вам, барин, я здесь на лавочке постелю? — предложил он.

Я отказался: душно было и мухи целыми роями сонно жужжали на потолке и на стенах.

— Мы, дед, к тебе на стог пойдём? — сказал Абрам, уже убравший Богатыря и отужинавший с полехами.

— Ин и там хорошо! — согласился Максим.

Мы вышли из избы. Два стога — маленький и большой — высились неподалеку от нее. Мы забрались с Абрамом на меньший и улеглись на душистое, свежее сено.

Максим пожелал нам доброй ночи и ушел; я лег на спину и заложил руки за голову.

Темное, звездное небо раскидывалось надо мной; кругом чернел лес; на лугу кое-где фыркали пасшиеся кони; у опушки глухо позванивала балаболка.

Лес не подавал ни звука; что-то торжественное было в чарующей тишине ночи; сквозь всеобщий неподвижный сон чуялась таинственная близкая жизнь.

Я закутался покрепче в шинель и закрыл глаза. Хорошо протянуться на мягком сене после сорока верст проселочной дороги! Тепло лилось по всему телу. Все смутнее и смутнее слышал я балаболку. Легко дышалось на свежем воздухе...

Еще минута и я погрузился в сон...

Резкий холод разбудил меня; я открыл глаза. Рассветало; серое небо низко висело над лесом; на другом конце поляны колыхался туман.

Проснулся, поеживаясь, и Абрам.

Максим был уже на ногах, когда мы пришли в избу. Он дал нам умыться; мы закусили черным хлебом, сунули пару краюшек в небольшой походный котелок и тронулись в путь. Солнце еще не вставало; трава на лугу серебрилась от сильной росы. Я отправился в одной ситцевой рубашке; холод пробирал до того, что посинели руки.

Максим шел впереди.

По узкой тропинке добрались мы до речушки, переправились через нее по двум перекинутым бревнам и очутились в чащобе, на тропке.

Исполинские сосны красноватой стеной подымались кругом; кое-где выступали мохнатые ели; вверху, словно врезанная в сплошную зелень, синела узенькая полоса неба; солнце уже встало — вершины леса горели румянцем.

Рядом идти сделалось невозможно: слишком густа была чаща. Пришлось разделиться.

Я пошел влево, к речке, в надежде на уток; Абрам с Максимом углубились в сторону от нее.

Узкая просека скоро вывела меня к воде: речка текла по широкой прогалине и давала легкие повороты.

Отошел я берегом версты с две — уток все не было. А из леса эхо раза три доносило отдаленные ружейные выстрелы и я завидовал счастливым товарищам.

Вдруг в чаще, неподалеку от меня, раздались странные звуки, — точно урукали голуби. Я свернул по направлению их и увидел двух крупных вяхирей, сидевших на моховых кочках. На выстрел они не подпустили, — перелетели шагов за сто и опять сели. Я начал подкрадываться. Они не подпустили снова.

Долго тянулась эта история. Наконец, вяхири снялись и полетели куда-то над лесом.

Я опустил ружье и осмотрелся: всюду теснились кусты, сосны да ели. И откуда пришел я? Я так был увлечен исследованием, что ничего не замечал и не видал, кроме птиц.

Я стал искать следов своих, но их нельзя было различить на сухой листве и валежнике; чаща, между тем, становилась все глуше.

Уж давно я должен бы был выйти к речке, а она все не показывалась; солнце стояло высоко.

Сильная усталость и голод заставили меня присесть на бугорок перед вывороченной с корнем елью и заняться обедом; товарищей что-то слышно не было.

Дичь и глушь кругом были непроходимые; я ощупал захваченные на всякий случай патроны с пулями и стал вслушиваться в тишину. Солнце нежило и пригревало; не

то пчела, не то шмель жужжал надо мной.

А не выстрелить ли? — пришла в голову мысль.

Но стрелять было рано: Абрам подумал бы, что я бую по дичи и не пришел бы. Оставалось ждать ночи.

С час просидел я на своем бугорке. Дремота понемногу одолела меня, я прилег на мягкий мох и уснул.

Сумерки спустились на землю, когда я проснулся. Лес потемнел, надвинулся ближе. Черным, вытянувшимся чудовищем казалась упавшая ель. Выстрелов слышно не было.

Я ощупал карман и вынул револьвер.

Гулко грянул выстрел, на миг осветилось все кругом; далече запрядало эхо.

Я прислушался... Ответа не было... Еще с час прошло в томительном ожидании.

Совсем черная, непроглядная ночь окутала мир. Только и различал глаз, что темные изломы леса; проглядывали звезды; тишина была невозмутимая.

Я выстрелил снова.

Словно захохотал лес, пробужденный от сна; крикнул в чаще испуганный ворон и, тяжело хлопая крыльями, полетел прочь. И опять тишина... Опять ни звука в ответ..

Я зарядил ружье. Неужели же ночевать тут? Едва слышный звук выстрела докатился до меня. И еще... Стреляли у меня за спиной: меня искали!

Я вскочил и грянул раз за разом из обоих стволов. Два удара ответили мне.

Радостное чувство наполнило душу. Опять раздался выстрел — уже совсем близко...

— А-а-у? — донесся, наконец, голос Абрама.

— Э-гой! — отозвался я и пошел навстречу.

Густые сучья царапали лицо, цеплялись за рубашку; я закрыл глаза рукой и направился напролом.

Через несколько минут мы встретились.

— Ну, барин, и забрался же ты в местечко? — сказал Максим. — Еле сыскали тебя. Как это ты сюда угораздился?!

Я рассказал, в чем дело.

— Вяхири? — повторил Максим. — Вот что...

Мы стали продираться в чаще; приходилось почти держаться за старого лесника, хорошо знавшего лес.

— А близко до дома? — спросил я.

— До дому? Да верст двенадцать будет!

— А не заночевать ли нам у бугров? — предложил Абрам. — Куда это переть такую силу в потемках? Того и гляди, без глазу останешься!

— И то придется! — согласился Максим. — И кстати, у нас и поужинать есть чем! Да вот барин захочет ли?

Я, разумеется, согласился.

Лес начал редеть. Немного погода показалась прогалина. Стало светлее.

— Вот и речка! — сказал Максим.

Прямо перед нами у самой реки намечался курган; вокруг него не виднелось ни кустика. Максим и Абрам сняли шапки и перекрестились.

Мы подошли ближе. Курган был приблизительно сажень двух в вышину и пяти в поперечнике.

— Вот мы и на месте! — заявил Абрам и отправился набирать сучьев и хвороста. Максим уселся щипать дичь. Скоро костер ярко озарил нас и скат кургана; светлый круг от огня лег на траве.

Скоро поспел и ужин из дичи.

Все ели с большим аппетитом, да и немудрено, когда за целый день, кроме ломтя черного хлеба, во рту ничего не было. Нежные кости рябчиков так и хрустели на крепких зубах Абрама; Максим медленно отдирал руками и ел белое мясо.

Разговор зашел о приключении со мной.

— А мы думаем, куда бы это мог барин деваться? — говорил Абрам. — Уж не вернулся ли, мол, в сторожку? Да, нет, смекаем, быть того не может, — сюда должен был бы прийти!.. Сидим, сидим, ждем — все нет! Мы и двинулись бережком; отошли версты с две, слышали выстрел. Еле нашли! Эки леса-то здесь, Господи!

— Глухо, глухо у нас!.. — проговорил Максим, встал, утер рот и покрестился широким крестом.

Абрам подкинул еще сучьев в огонь.

— И все вяхири, что за притча такая? — сказал он. — Помнишь, дед, летось Хвостовский барин здесь заплутался: тоже вяхири завели!..

Максим молчал.

Тепло, уютно было у пылавшего костра. Я лежал возле огня; Абрам и Максим сидели по другую сторону.

— А что такое было с ним? — любопытствовал я.

— Да тоже вот... завели! — ответил Максим. — Пошли мы на тетеревей тогда, разделились, вот как нонче — он и наткнись на них... и завели!.. Меня самого заводили, — добавил он спустя некоторое время.

— Вяхири?

Резкий, злорадный крик раздался почти рядом в чаще. Я быстро оглянулся.

Дед усмехнулся.

— Сова это! — сказал он, — много их тут...

Послышались тяжелые удары крыльев и точно смех донесся к нам издалека спустя минуту.

— Ишь, ты, нечисть! — заметил Абрам, всматриваясь в чашу. — Зарядом бы ее попотчевать!

— Да... — опять начал Максим, — не впервой это по здешним местам!.. Слыхал ты вот об этих буграх?.. — Максим указал на тот, у которого сидели мы: немного подальше темнел другой.

— Нет, а что такое?

— Ну, слушай! — сказал Максим. — Давно тому было... — татарин тогда русскую землю воевать приходил; стояла в те годы вон там церква — доселе еще ее место значится! Василий поп ее строил. Бог весть, отколе он тут объявился, только вызнал люд, что подвижничает какой-то старец в наших лесах; сказывали, звери и те его не боялись. Повалил, понятно, к нему народ. Наша сторона глухая, дикая — и теперь на десять деревень церкви не сыщешь, а тогда и совсем, почитай, не было их; поставил народушко рядом с землянкой Васильевой церковку, священствовать тот стал. И Бог весть откуда и приезжали к нему люди — исцеление старец подавал, умирительный был, бессребреник, а сам все в ямке в своей жил, лишь на службу и выходил из нее!

Только раз глядят люди, что-то нет его и нет; сунулись к нему, а он уж кончается.

Плач пошел!

— Не плачьте, — говорит, — обо мне, о себе плачьте! Скорблю о том, что одни останетесь вы... Молите Бога — Его святая воля!

И помер. Здесь, сказывают, всем миром и погребли его. Максим указал рукой на ближайший курган.

— По горстке нанесли его православные; святое место здесь, безобязненное!

Он снял шапку и набожно перекрестился на могилу; Абрам сделал то же. На минуту воцарилось молчание.

— А с той же ночи знамения пошли, — продолжал Максим. — Хвостатая звезда огненная появилась на небе, ночью плач в церкви стал слышаться, солнце как кровь было, волки нашли целой тучей.

Испугался народ. А тут невдолге и вести пали, — татары идут! Не успели сообразиться, — нагрянули они; только и удалось нашим, что добро церковное в лесу закопать!

Кто поробчей наутек пошли, другие обороняться решили; большое село, — сказывают, здесь за церковью стояло.

Тучей, что саранча, нашли татары; наших вчистую побили, село спалили, разграбили.

Запалили и церкву, — думали они богатства много забрать в ней — слухи такие были — ан только голые стены нашли!

А привели их два брата, князья татарские — мурзы-богатыри сказать. И разузнай они от кого-то, будто здесь старец богатый зарыт; раскопали могилу, вытащили колоду, крышку сорвали с нее, а он, святитель-батюшка, нетленный лежит, будто сейчас положенный! Только из лика потемнел, да брови будто сдвинул.

Стали это татары тащить его из гроба, чтоб поглядеть, нет ли чего под ним, а святитель открыл глаза и глянул на них. Так и покатались оба князя с бугра, — как молоньей их опалило! Все, сколько тут было татар, бежать кинулись. Опомнились версты через две, вернулись, — глядь, князья

мертвые лежат! Взвыли татары, отвели речку с версту отсюда, похоронили их там, у камней, и ушли скорей прочь!

Наутро, кто уцелел из наших, высыпали из лесу и прямо сюда, к могиле. Видят, — святитель открытый лежит... Лицо тихое, а на щеках слезы застыли.

Похоронили его опять православные...

Максим замолчал; молчали и мы с Абрамом; только костер потрескивал.

— Вот с той то поры татарской и повелось у нас в лесах нехорошее! — заговорил опять старик. — Сказывают люди, ни днем, ни ночью нет покою богатырям тем — все клад ищут... Эти вяхири твои — они были!.. — добавил он. — Счастье, нашли тебя скоро: медвежьи лога там кругом! На моей памяти был случай: мужик наш тоже за «ними» пошел и пропал. Нет его и нет; искать стали: глядь — а он лежит под сосной с развороченной грудью и ружье рядом, перешибленное. Ночью ружье не помощник! Это «они» его навели... Вот какие дела, — закончил дед и вздохнул.

— А пора бы и спать — ишь, забалакались? — сказал он и поднялся.

Встал и Абрам.

А я лежал на боку и, задумавшись, глядел на алмазную россыпь неба. Слегка жуткое, замирающее и вместе с тем сладкое чувство наполняло душу. Вокруг было тихо, торжественно. Чернел лес; Большая Медведица сильно подалась вниз — поздно уже. Над рекой вставал туман; где-то кричал коростель...

Холодно! Брр! Поближе к костру! Завтра рано вставать надо... Спать, спать!..

Тифлис, 1892 г.

РАЗБОЙНЫЙ ЛОГ

(Из прошлого)

Синими ожерельями окидывает Северный Донец высокие меловые горы, залитые то темным, то светло-зеленым лесом. На сто и более сажень вздымаются белые иззубрины правого берега; левый много ниже; оба изорваны извилинами оврагов; по днам их хрустальными тропочками прячутся в свежей тени ручьи.

Дух мрет, когда выбежит со степного раздолья дорога к первому обрыву; слепят глаза кручи и осыпи; будто в снегу увязают по ним мощные рати векового бора, взбирающегося вверх из провальев.

В небе плавают орлы — впервые по пути на юг начинающие встречаться здесь. А совсем далеко вторым солнцем сияют вознесенные над миром золотые купола монастыря св. Иосафа.

Я и мой спутник, старик-пасечник, о. Паисий, набродились в глухом лесу, надышались смолой и зноем и сели отдохнуть в тени бережка одного из неглубоких оврагов; дно его длинным серо-зеленым ковром застилал папоротник и редкий березнячок.

Мы поставили свои лукошки, полные отборными белыми грибами, и принялись опустошать корзинку, захваченную с собой о. Паисием; в ней под ручником оказались хлеб, огурцы и несколько сотов янтарного меда в расписной глиняной мисочке.

Согнутый временем, худощавый о. Паисий был облачен в серый, залатанный подрясник и в выпцветшую, рыжую островерхую скуфейку; на старческих щеках его курчавилась серебряная круглая борода. Словоохотлив и добродушен о. Паисий был чрезвычайно; что ручеек мог он журчать целый день; при этом нет-нет и возводил к небу голубые глаза, глубоко вздыхал, произносил — «о Господи, помилуй!»

и продолжал рассказывать.

*

— Да не может этого стать?!!.. — вдруг воскликнул совсем рядом с нами чей-то неведомый басистый голос.

Я повернул в его сторону голову — кроме нас двоих да леса, никого кругом не было; о. Паисий не оглянулся, только наклонил ухо, как бы прислушиваясь.

— Фома ты неверный! — ответил второй, тоже невидимый и неизвестный мужчина. — Уж коли я сказываю, стало быть, не зря; действуй и никаких!

Голос исходил с пустой, ровной как ладонь плешинки, находившейся на расстоянии руки между мной и о. Паисием. Я с изумлением глядел на таинственное место; все стихло.

— Кто это говорит?! — спросил я.

На лице моего спутника показалась улыбка.

— Прохожие на дороге беседовали! — отозвался он. — Они в версте либо в полуторе отсюда. Мы ведь в разбойном логу с вами!

— Да оттуда и выстрела не услышишь!! — воскликнул я.

О. Паисий качнул головой.

— Еще как услышите!.. Всякое слово, которое на дороге под нашим бережком скажется — здесь повторится. И наоборот — вот мы с вами беседуем тут — а там все отзывается!

— Но отчего же? По какой причине?

— Чудо какое-то Господом явлено... — проговорил о. Паисий, — земле здесь власть дана с человеком разговаривать! А по какому случаю — не открыто нам!

Мне вспомнился знаменитый круглый храм Сивиллы в Байях под Неаполем, где всякое слово, произнесенное даже шепотом, явственно слышится в любом месте, если прикинуть к стене; такое же свойство и у хор под куполом собора св. Павла в Лондоне...

— Опасается народ этого лога! — продолжал монах. — Издавна про него худая слава идет. Жутко, конечно, мирскому человеку; не вникает он ни во что: идет себе в тишине, в спокойствии, кругом ни души — и вдруг голоса рядом!... За колдовство это почитается! А я полагаю — от Господа оно.

— А зимой голоса слышатся?

— Нет... зимой спит земля!...

Я встал и внимательно осмотрел ближайшую часть обрыва; пласты почвы нигде нарушены не были, следов какой бы то ни было работы рук человеческих не примечалось.

Я вернулся к своему спутнику и мы продолжали обед.

— Хлопчиком махоньким я еще был... — заговорил опять о. Паисий. — сказывала, помню, бабка моя, старуха — стан разбойный при Екатерине-царице где-то здесь в логу находился. Жили разбойники в пещерах в подземельных, — много ведь их по нашим горам! На несколько верст будто они под землей тянулись. В них же и богатства свои сохраняли; коврами все у них было украшено, мебелью, зеркалами; золото, серебро грудami лежали. А на дороге избушка стояла, старуха постоянный двор в ней держала. И как только объявлялись богатые проезжие или обозы ценные — сходила старуха в овраг и говорила земле что было надо. Земля передала: разбойники налетали и делали свое дело.

До того дошло, что решило наконец начальство унять их и послало в наши края несколько полков солдат.

И теперь здесь леса глухие, а тогда окончательно дебри дремучие были! Охватили солдаты леса кольцом и стали загонять идти. Проведала об этом от проезжих старуха и упредила разбойников, чтобы в подземелье схоронились. А оно кроме двери дубовой еще и скалой закрывалось — устройство имелось такое особенное: нажмешь снаружи пружину, скала сама как человек на пяте поворачивалась.

Спрятала старуха своих молодцов, прикрыла как следует вход и домой воротилась.

Через день-два нагрянули войска; ищут, шарят везде — нет никого.

За старуху взялись: где разбойники? Ты, мол, спокон века тут сидишь, знаешь, где соколы прячутся!

Старуха отнекиваться давай. Ну, тогда долго не разговаривали — пытаться ее начали! Крепка была старуха, сильная — звука не проронила. Уперлась — знать, мол, ничего не знаю, ведать не ведаю!... так на тот свет и ушла под кнутом.

Обыскали солдаты весь лес, облазили кручи и овраги — пусто везде, побились-побились несколько дней и назад ушли. Избушку сожгли, а разбойники больше уж и не увидели Божьего света — все до одного кончились от голода в подземелье. С той поры и стихли разбой в наших краях!

— Что же, искал кто-нибудь это подземелье, или нет?... — любопытствовал я.

— Как же, многие пытались!.. — ответил о. Паисий. — Ну да где же найти? Примет ведь никаких не имеется! Гудит в иных местах земля, если постучать в нее — только и всего. Пробовали копать — ничего не обнаруживалось: ведь сплошь гору не разроешь! А может, и сказка это простая старыми людьми про клад пущена!..

— А может быть и то, что мы с вами сейчас над самым кладом сидим.. — заметил я.

— Все может статься!.. — задумчиво отозвался монах.

*

Крепко запомнился мне этот овраг и разговор про разбойников.

И вот много лет спустя, уже за рубежом России, я встретился с одним из белгородцев, участвовавших в бою с красными как раз в районе оврага, известного своей изумительной акустикой.

Один из тяжелых артиллерийских снарядов попал в стену его как раз у того места, где мы отдыхали с о. Паисием и разворотил громадную выбоину. Из середины ее круглым окошком глянуло темное отверстие; за ним влево и вправо уходил в глубь земли коридор; на полу белесили скелеты

людей.

Расширить пробоину и осмотреть хотя бы ближайшее подземелье было некогда — начиналось отступление...

Нет сомнения в том, что местные крестьяне уже побывали в этом загадочном тайнике и узнали, былъ — или легенда старинный сказ о кладе и о заживо погребенных разбойниках.

г. Рига, 1926 г.

ОВРАГИ

(Из воспоминаний)

Я только что был произведен в офицеры и решил съездить в Шемякино, провести и показаться своей любимой тетушке, баронессе Дольст.

Имение ее находилось в самой глуши Болховского уезда, в шестидесяти верстах от Орла; телеграммы о высылке мне лошадей послать было нельзя и я решил проехать по железной дороге не до Орла, как всегда, а до первой станции за ним и там нанять подводу: оттуда до Шемякино считалось всего сорок верст.

В полночь я высадился из московского поезда и очутился с чемоданом в руках в полутемном и душном зале этой станции; меня окружила гурьба возчиков-крестьян человек в пятнадцать и все наперебой предлагали свои услуги.

Шемякино из толпы их знал только один— невысокий, вертлявый разбитной мужиченко; я договорился с ним о цене, вручил ему свой чемодан и мы вышли на крыльцо.

Пара понурых крестьянских коньков в веревочной сбруе и простая телега с грядкой поперек нее ожидали нас; я уселся на деревянную доску, изображавшую сиденье, возница замахал кнутом, задергал вожжами, и телега загремела по мощеному станционному дворику.

Ездить тем путем мне не доводилось; за станцией начался лесок, за ним дорога спустилась в дымившую туманом ложину и пошла нырять из оврага в овраг. Полей почти не встречалось; по обе стороны тянулись высокие, черные стены леса; нет-нет и они заливами отходили прочь.

Ночь стояла светлая, месячная; только стук колес нарушал безмолвие.

Мужиченко сидел полуоборотясь ко мне, курил трубку и вел со мной беседу. Я кратко отвечал и любовался ночью.

Прошло с час времени; мы въехали на крутой взгорок и с вершины его мне слышалось, будто где-то позади глухо простучали колеса другой телеги.

Необычайного в том ничего не было, и я стал устраиваться поудобнее и полуулегся на сене. Телега, судя по приближавшемуся стуку, нагоняла нас быстро.

Мы спустились опять в овраг и, когда стали подыматься на противоположную сторону его, я различил на осеребренном скате горы пару коней и телегу с людьми. Она как салазки скатилась вниз и исчезла, словно нырнула в черную тень на дне оврага.

Мы перевалили через гребень и оказались на ровном плоскогорье; чужая телега нагоняла и была всего саженьях в двадцати от нас; мой возница затянул вожжи и остановился.

Остановились и ехавшие сзади.

— Дозволь, барин, к землякам сбегать, трубочку прикурить? — сказал он.

— Сбегай! — ответил я, вытягиваясь поудобнее.

Мужичок соскочил с облучка, оставил мне вожжи и пошел к землякам. От нечего делать я обежал глазами небо, бесконечный лес впереди и перевел их на чужую телегу; в ней сидели четверо; возница мой стоял около них и, указывая на меня головой, вел о чем-то вполголоса беседу...

Не отдаю себя отчета почему, но мне вдруг почудилось что-то недоброе: вспомнились разбои, часто происходившие тогда в нашей Орловской губернии и жуткая струйка пробежала по сердцу.

Я достал из кармана свой новый никелированный револьвер, сунул его за борт кителя и насторожился.

Минут через пять мужиченко вернулся, взобрался на свое место и мы затрусили дальше. За нами, медленно нагоняя, двинулись и неизвестные.

Я вынул засверкавший револьвер и, как бы хвастаясь, показал его вознице.

— Смотри, какие штучки теперь делают: шесть человек уложить можно!

Тот встрепенулся и протянул руку.

— А ну-ка, покажь, барин? — произнес он.

— Нет, брат, не дам! — ответил я. — Еще подстрелишь себя, потом ответ за тебя держи!

И я положил револьвер опять за борт кителя. Несколько минут мы ехали в молчании.

— Штучка хороша!.. — проронил возница. — Эх, а трубочка-то моя опять погасла?! — воскликнул он. — Дозволь, барин, прикурить сбегать?

Трубочка его еще дымилась, но я не возражал и наша телега остановилась: стала и следовавшая за нами.

Мужиченко подошел к ней; я не сводил с него глаз и видел, что он нагнулся и что-то шепотом стал говорить сидевшим.

Я каждую секунду ждал нападения и крепко держался рукой за рукоятку револьвера. Но никто с облучка не соскакивал и ко мне вернулся только один мой возница.

— Ну, теперича едем! — решительно заявил он, садясь на свое место и забирая вожжи.

Мы покатали дальше.

Не прошло и десяти минут и следовавшая за нами по пятам телега свернула на первом же перекрестке в сторону и исчезла.

*

На рассвете, усталого и полусонного, возница доставил меня в какую-то деревушку и далее везти отказался, отговариваясь тем, что не понял меня и что дороги в Шемякино он не знает.

До места довез меня другой крестьянин и только к четырем часам дня, проплутав в общем около восьмидесяти верст, я очутился у тетки.

Почудилось ли мне, вправду ли был какой умысел и сговор между моим ямщиком и догнавшими нас неизвестными — не знаю. Но до сих пор помню эту ночь, жуткое чувство на сердце и осеребренные месяцем, словно дымом окутанные лесные овраги...

ДИКИЙ ПАН

Рассказ

Лет за двадцать до великой войны мне довелось посетить приятеля, жившего в имении, верстах в двадцати от Днепровских порогов.

Приехал я к нему ради охоты. Страстный охотник, он давно уже соблазнял меня ею, обещая в письмах нечто необыкновенное. Действительно, — охота оказалась чудесной. Но самое лучшее — поездку к никогда еще не виданным мной порогам — я оставил к концу.

Товарищ хотел ехать со мной, но как раз в ночь на назначенный день у него разболелись зубы, сделалась мигрень, и он остался дома. Я решил ехать один.

— Там, верстах в двенадцати от порогов, есть интересные развалины замка Потоцких, — цедил сквозь зубы товарищ, выйдя на террасу проводить меня и держась рукой за щеку. — Осмотри их; при них живет нечто вроде сторожа... интеллигентный... расскажет... интересно. Только не ночуй — он лунатик. Днем ничего, а ночью находит, говорят, на него... Перепугает еще. Ох, черт, эти зубы!..

Я обещал вернуться к вечеру, простился с приятелем, сел на лошадь и поскакал по указанному мне направлению.

Через три часа я уже стоял на береговых скалах и восхищался картиной. Громадная, синяя масса Днепра беззвучно неслась на бесчисленные торчавшие из воды скалы и с грохотом разбивалась о них: к небу вскидывались столбы и радуги из брызг и пыли. Необозримое пространство казалось kloкочущим адом из белых бурунов и пены. Гул и рев стояли невообразимые.

Вверх по синевшей ленте Днепра тянулись леса; на юг отходили степи; с холма глядели величавые развалины.

Постояв на берегу, я поехал к ним. В одичавшем парке я расседлал лошадь, спутал ей ноги и пустил на траву, а сам

поднялся на холм и стал осматривать замок.

Одна из стен его лежала во прахе. Часть холма, с ее стороны, была засыпана грудями кирпича и мусора. Вместо дверей и окон смотрели мрачные проломы. Ряд комнат и зал был обнажен упавшей стеной.

Я вошел в боковую, главную залу. Потолка не было. Кругом высились бурые стены; над ними голубело небо.

Осторожно ступая между камнями, я пошел дальше.

Ни звука, ни шороха.

Комната открывалась за комнатой. В нишах одной сохранились на стене силуэты портретов. Еще можно было различить цвета красок и сами изображения дам и рыцарей. Долго стоял я перед ними, силясь угадать и воспроизвести черты лиц их. Много видений прошло передо мной в те минуты!

Местами, где были своды, потолки сохранились. В одном из углов подымалась во второй этаж железная винтовая лестница. Я подошел к ней, заглянул вверх и вздрогнул от неожиданности. Из полумрака отверстия на меня напряженно глядело чье-то бритое лицо с горящими, кошачьими глазами. Встреть я дикую рысь, впечатление получилось бы не большее!

Глаза несколько секунд смотрели на меня неподвижно. Наконец, лицо улыбнулось.

— Это вы, сударь?.. — проговорил старческий голос и по лестнице спустился ко мне невзрачный, худой старичок со впалой грудью и странными изжелта-серыми глазами.

— А я слышу — кто-то ходит. Позвольте представиться: Петр Петрович Онучин, смотритель и управляющий замка!

Я назвал себя.

— Какой управляющий? — подумал я в то же время. — Чем здесь управлять, когда все в развалинах?

Тут только я вспомнил слова приятеля, сказанные мне при прощании. Неприятное, отчасти опасливое чувство шевельнулось во мне.

— Очень рад-с... — говорил старик. — Замок осмотреть приехали? Дивное место-с; многие сюда ездят... Табачок нюхаете?

И он открыл бывшую у него в руке табакерку и протянул ее мне.

Я отказался.

— Просвежает мозги-с... Очень даже приятно!

Старик забрал щепоть табаку и долго, с наслаждением нюхал ее.

— Это имение графов Потоцких.... — продолжал он, спрятав в карман табакерку. — Оно уже больше трехсот лет в ихнем роду. Славный был замок когда-то; много повидал-с! Если угодно, покажу все в подробности?..

Мы пошли по замку.

Старик не пропускал ни малейшего закоулка; он знал — кто и когда жил, в какой комнате, где умер или родился тот или другой из владельцев.

Меня удивило, что он называл все имена графов, живших от Владислава IV и до времен Собесского включительно.

Я спросил его о причине этого.

— А после владельцы не жили здесь!.. — ответил старик. — Варшава соблазняла их очень. Сюда наезжали только, да и то редко!

В одной из полуобрушенных комнат нижнего этажа, во внутренней стене, чернело отверстие; каменные ступени уходили вниз. Пахнуло холодом и сыростью. Передо мной был ход в подземелье.

— А туда можно?.. — спросил я своего спутника. — Не обвалились еще своды?

— Не ходите-с! — сказал он. — Нехорошо там!..

— В каком смысле нехорошо?.. — спросил я.

— Заблудиться можно... Лабиринт целый-с. И костей много, упокойников. В старину всякое происходило!..

Странно и гулко звучали голоса наши в безмолвном жилище мертвых.

— Что же именно?.. — любопытствовал я.

— Тюрьмы там были... Пытали, голодом морили... Всякое было-с. Иные скелеты и теперь на цепях сидят!

Слова его раззадорили меня. Мне захотелось повидать подземелья.

— Нужны факелы, так нельзя-с!.. — ответил старик на мою просьбу. — Осмотрим сперва парк, потом уже туда пойдем!

Мы вышли на сохранившуюся террасу.

Чудный вид на Днепр опять развернулся предо мной. Я долго не мог оторвать глаз от белых порогов, ленты Днепра и необъятной степи, сливавшейся вдали с небом. Старичок стоял возле меня, прислонившись спиной к одной из колонн террасы.

— А в лунную ночь как здесь должно быть хорошо! — проговорил я.

С высланной плитами террасы мы спустились по рассевшимся ступеням широкой каменной лестницы в парк.

Видны были остатки аллей с иссякшими фонтанами; кое-где высились груды поросших травой камней — когда-то прохладные гроты. Заросли кустов окружали их.

Более часа пробродил я по парку, забыв совсем про своего спутника. Старичок молча и беспрекословно ходил за мной.

Капля дождя, упавшая мне на лицо, возвратила меня к действительности.

— Эге-с!.. — сказал старик, глядя вверх.

Огромная иссиня-черная туча закрывала полнеба и быстро ползла вперед, разрастаясь все больше и больше.

Отыскав лошадь, мы чуть не бегом бросились по одной из аллей и скоро очутились около замка. Едва мы успели укрыться в нем, — захлестал ливень.

Было четыре часа; о возвращении в этот день домой нечего было и думать: дождь обещал превратиться в затяжную хлябь.

По грудам камней добрались мы до зала с уцелевшими сводами и привязали там моего гнедка.

— Придется заночевать?.. — сказал я, глядя в окно на шатавшиеся от ветра вековые деревья.

Старичок потер руки.

— Весьма рад-с!.. Найдём место. Милости просим ко мне?.. — и он указал рукой на винтовую лестницу.

Я поднялся первый и очутился в средневековой, бедно, но необыкновенно чисто убранной комнате. Крутом темнели ниши; на колонны их опирались своды. В углу чернел камин; в одной из ниш стояла кровать; у окна был стол; старый диван и несколько стульев завершали всю обстановку.

— Садитесь, пожалуйста!.. — заговорил старичок, двигая мне стул. — Сейчас самоварчик поставлю, закусим!

Голод напомнил мне, что в торбе за седлом у меня была всякая съедобная всячина. Минут через десять мы уже сидели за кипевшим самоваром и с аппетитом закусывали.

— Вы что же — один здесь живете?.. — осведомился я. — Прислуги у вас нет?

— Была, да ушла... — ответил старичок. — Не живут долго — здесь скучно-с. Что делать!..

— Действительно, здесь должно быть скучно! — согласился я.

— Летом еще туда-сюда, а зимой.. Зимой-с плохо! Жутко!.. — добавил он.

— Признаться, я не понимаю, зачем вы здесь живете? Присматривать за замком можно было бы, и переселившись хоть бы в ближайшую деревеньку.

— Никак нельзя-с!.. — ответил старик. — Невозможно!.. Так уж определено-с...

Он вздохнул и стал смотреть в окно. На дворе стемнело.

— Разведемте огонек-с?.. — сказал наконец старик. — Холодно!

Затрещал огонь и разогнал мрак комнаты. Мы пересели поближе к камину.

— Мне говорили, что с этим замком связана какая-то легенда?.. — прервал я молчание. — Не будете ли вы добры рассказать мне ее?..

Старичок воззрился на меня засветившимися глазами.

— Легенда-с?.. — повторил он... — Что в ней хорошего? Пустяки-с!..

— А все-таки?

— Если желательно — так извольте! Было это давно, очень давно, лет двести тому назад! Владельцем замка был тогда

граф Александр... Замка этого он не любил, жил всегда под Варшавой... Помните-с, я вам показывал комнатку внизу... Еще колонны такие стоят в ней. — Ну так вот, в ней был зарезан отец его. Кем — так и не узнали тогда. Жил в замке управляющий его, пан Владислав. Хлопы звали его «дикий пан»-с. Ни семьи, ни близких у него не было. К соседям не ездил, жизнь вел замкнутую. Свирепый был человек. Чего только не выдумывал он с пьяных глаз — и сказать страшно: лучше помолчу-с!

И вот раз выдумал он такую потеху себе: пришли хлопы просить отворить им для Светлого праздника церковь; запечатана она была за недоимки-с. Велел он привести лодки, перевязали хлопов и посадили их в эти лодки. Посадили, отвели на середину Днепра и пустили-с. Конечно, все побилось о скалы и потонуло.

Вечером вышел, как всегда, на террасу пан Владислав и вдруг слышит пение.

— Палок!.. — закричал было он и замер-с. Парк осияло. И среди сияния открылись окровавленные и изуродованные люди... Те самые, что утопил он... Шли прямо к нему.

Пан Владислав закричал, опрокинул стол и бросился в зал, затем в подземелья. А мертвецов видели потом в церкви. Кто освещал и распечатывал ее — неизвестно! Люди в замке не спали всю ночь; слышали визг, крики, хохот: это мертвецы искали пана Владислава. Что с ним случилось — не узнал никто. Только пан Владислав не выходил уж больше из подземелья.

— Ну, и что ж дальше?

— Дальше-с... А то, что пан Владислав и доныне ходит иногда по ночам по замку.

Старик замолчал и прислушался.

— Будет буря ночью... — сказал он изменившимся голосом. — Его будут искать... — добавил он, косясь на окно.

— А вы видали привидения?.. — спросил я немного спустя.

Старик не ответил.

Дождь не переставал; смерклося окончательно. Долго просидели мы молча, прислушиваясь к шуму дождя и по-

рываю усилившегося ветра. Зажгли свечу; стало еще тоскливее. Я заговорил о сне. Старик повел меня в одну из ниш.

В углу ее открылся ход в соседнюю комнату. Она была почти такая же, как и та, в которой мы были. У одной из стен стоял кожаный диван и два стула.

Старик принес мне простыню и подушку. Руки его дрожали. Он то и дело прислушивался к доносившимся отзвукам бури, пожелал мне спокойной ночи и вышел. Я хотел запереть за ним дверь, но таковой не было. С неприятным чувством ожидания чего-то, улегся я на диван свой.

И долго не мог заснуть: все беспокойно прислушивался к вою ветра и каждому шороху. Но в замке было тихо; старик тоже не шелохнул ничем в своей комнате. Незаметно для себя я заснул.

.

Кто-то сильно сжал мою руку. Я очнулся.

Передо мной стоял старик с зажженной свечой; свободная рука его стискивала мою; рот был перекошен, глаза блуждали,

Я вскочил.

— Что такое?!

— Слышишь?.. — шепотом выговорил старик. Лицо его выразило страшное напряжение... — Слышишь?!

Замок гудел и стонал. Буря разыгралась во всю силу. Порывы ветра потрясали, казалось, самые стены. И вдруг что-то грохнуло и заухало по комнатам замка.

Мы вздрогнули.

— Камень сорвался... — сказал я.

— Это они!.. — произнес старик, с ужасом вперясь куда-то в пространство.

— Идут!!..

Он со стоном рванул себя за волосы и заметался из угла в угол.

Боясь за него, я схватил его за плечи. Он с силой стал рваться из моих рук.

Свеча упала и погасла.

— За мной!!.. — прохрипел старик.

Я последовал за ним.

В его комнате мы остановились. Молния за молнией резали черное небо. Буря гудела, не умолкая.

Действительно, снизу доносились голоса. Точно тысячи освирепевших людей, ища кого-то, с диким воем носились по замку...

Синий свет ослепил нас; грянул неистовый залп грома. В ответ ему снова рухнуло что-то вблизи нас. На секунду все смолкло и вдруг словно весь ад с визгом и воплем обрушился на защищавшую нас стену.

— На помощь!!.. — закричал старик, метнувшись к стене. Он схватил тяжелый диван и, как перо, метнул его к винтовой лестнице. Вслед за ним полетели столы, стулья. Старика освещали молнии.

— Защищайтесь!!.. сейчас ворвутся!!..

Страшный, всклокоченный, он встал у баррикады с дубовым стулом в руке.

Но гроза уже утихала. То был последний натиск ее. Небо стало быстро бледнеть, проступили звезды; ветер упал окончательно.

Старик опустил свое оружие и, весь трясясь, отошел от баррикады.

— Не дался!!.. — задыхаясь, проговорил он. — Спасся!!.. А знаешь ли ты, кто я?.. — шепотом спросил он, подходя ко мне.

Воспаленные глаза его горели. Измученное, морщинистое лицо было мокро от пота.

— Знаешь ли, кто я?... Я пан Владислав, управляющий!

*

Старик быстро ослабел и сделался неопасным. Я уложил его и прилег на свое ложе.

Ржание лошади пробудило меня. Я поднялся и увидал

своего хозяина, хлопотавшего вокруг стола, на котором все было готово к чаепитию.

— А, проснулись?.. — весело воскликнул старик, увидя меня. — С добрым утром!

Лицо его приветливо улыбалось, на нем не было и следа ночных переживаний и только в желтых глазах стояло легкое марево.

Лошадь моя оказалась привязанной в парке на траве; омытое дождем утро блестело и смеялось...

О происшедшем мы не проронили ни слова. Я скоро простился с радушным стариком и, разбрызгивая зеркальные лужи и впуская хохлатых жаворонков, беспричинно радостный, как и все окружавшее, поскакал в обратный путь.

ЖАР-ПТИЦА

Из рассказов священника

Наша губерния и теперь лесистая, а на памяти отца леса покрывали ее чуть не сплошь, да какие — липовые да дубовые, беспросветные; медведей, волков и всякого зверья и птицы водилось что грибов. Как вспомню о былом, так земляничным да медвяным духом и овеет!

Отец мой служил дьячком в глухом селе Ворожеевке; от уездного города до него 27 верст считалось, а от губернского шестьдесят пять. Бедно жили, что говорить; семья у нас большая была, но отец, царство ему небесное, никогда не роптал на это. Родится, бывало, у нас братец либо сестренка — смеется: «новый, — говорил, — желторотый скворушка прилетел... надо и ему крупки подсыпать!...»

Мы, дети, и впрямь как птицы росли — с зари до зари либо в лесу пропадали, либо в речке рыбу и раков ловили — цельными лукошками натаскивали.

Церковка на отлете от села стояла, с желтой кручи в пруд гляделась, а в синем бездонье крест сиял; близ храма наша хибарка ютилась, в садочке невеликом укрывалась: мы, дети, облепим вишню либо яблоню — чисто как воробышная стая по сучкам рассыплемся! А рябина какая у нас росла, сладкая да осыпная — словно в красных шапках деревья стояли!

Отца-настоятеля дом поодадь в большом саду раскидывался; туда забираться мы и помыслить не смели, только в щели забора посматривали, какая смородина и крыжовник по ту сторону спели.

За играми не поспел я оглянуться, пришла пора старшего брата и меня в губернию в ученье везти. Что мы с ним и с матерью слез пролили, и сказывать не стану: детские печали всегда памятливы!

Своей лошадки отец не имел и договорил мужичка-по-

путчика; о. настоятель отслужил молебен в путь шествующим, собрались мы на телегу, мать два кулечка с лепешками, хлебом и лучком нам сунула и покатила наша колесница в дальний путь, в новую жизнь!

В Пензе сдал нас отец в бурсу, снабдил каждого гривенником денег, посоветовал, как обходиться в разных случаях жизни, благословил и уехал обратно.

О жизни в бурсе распространяться не стану: об этом немало книг написано прославленными литераторами. Расскажу о другом — самом интересном — о том, как нас выпускали на каникулы и как мы совершали свой неблизкий путь.

Уже с раннего утра немощеная, пыльная площадь перед семинарией начинала заполняться всякой публикой; были там и наши ученики и городские мещане и торговки с корзинами и лотками со всякой снедью — вареными яйцами, пирогами, румяными калачами и бубликами — всем этим запасалась в дорогу наша братия; у длинной каменной стены, отгораживавшей семинарский сад, тянулась коновязь; у нее пестрели белые, буланные, вороные, рыжие и всякие кони, запряженные в различные повозки и брички. Гомон стоял, будто на ярмарке.

За сыновьями священников отцы присылали рессорные брички; кто победнее, имели таратайки, а то и простые телеги. А еще больше нашей братии довольствовалось пешим хождением «пер педем апостолорум»*, как говорится в священном писании.

Все множество школяров разбивалось на отдельные кучки и разбредалось по разным направлениям; кто шествовал в старом нанковом балахоне, вроде капота, либо в короткой курточке; за городской заставой все останавливались, рассаживались на траве и снимали сапоги. Их связывали за ушки, надевали на палку и перекидывали на спину. Через плечо висели холщовые мешки с дорожными запасами, как

* Искаж. лат. *per pedes apostolorum* — «апостольским стопами», «по хождению апостолов», т.е. пешком (*Прим. изд.*).

у богомольцев. Я с братом и еще с одним товарищем — Успенским — были в уезде самые дальние и до своих мест добирались только на третий день, а если доводилось заплутаться, то запаздывали суток на двое и больше; мудреного в том ничего не было: дороги в наши края вели проселочные, глухие, селения попадались совсем редко, встречные тоже. Беда была в непогоду, особенно под вечер: укрыться некуда, сквозь деревья льет, земля у нас жирная, черная, развозит ее в какие-нибудь полчаса, ноги вязнут выше щиколотки — ни тебе стоять, ни идти, ни лечь! Бредем, бывало, мокрые насквозь, платишко на нас все облипнет, кругом темень: — ни огонька, ни звездочки; дорогу чуть видать; дотащимся до перекрестка — новая беда, куда сворачивать? Слева лес шумит непроглядный, справа он же; спросить не у кого; чего-чего ни мерещилось, каких только страстей из темноты ни смотрело. Сморимся до слез, прижмемся поплотнее друг к дружке под каким-нибудь дубом потолще, да так и продροжим до света.

Жутко в такую пору в лесу: птицы безмолвно иногда проносились из чащи; среди мертвой тишины вдруг хруст либо хохот слышался.

И в доме и в бурсе мы часто слышали рассказы взрослых о нечистой силе, мертвецах и привидениях. Днем мы о них не вспоминали и не разговаривали, зато ночью под вы звездившим небом привидения обступали наш костер вплотную; Успенский брал обуглившуюся палочку, закреплял ее и, читая вслух «да воскреснет Бог», обводил вокруг костра черту, охраняющую людей от наваждения нечистой силы.

Ночевали мы и на деревьях. Особенно удобны были для того старые дубы с мощными суками, на которых можно было улечься как на лавке в избе; чтобы не свалиться во сне с дерева, мы делали из веревок глухие петли и опоясывали ими себя под мышками, а другим концом привязывались к дубу...

А чуть забрезжит утро, да проглянет солнышко, мы как скворцы бежим дальше: кто поет, кто свищет — теплу радуемся!

Вот во время одного из таких путешествий и приключилось со мной нечто удивительное, о чем я и хочу рассказать вам!

Стал я мальчонкой на возрасте, лет, должно быть, мне исполнилось двенадцать; уже по третьему разу мы домой возвращались; с дорогой мы ознакомились хорошо и никакие перекрестки уже не смущали нас.

Дни стояли отменные, жаркие; мы и в речонках попутных купались, на горячем песочке валялись и с эхом перекликались и певчим птицам вторили, либо сами хором стихеры пели. Особенно умирительно у нас выходило: «Величит душе моя Господа». Старик я уже теперь, многое позабыла душа, а как услышу это песнопение — слезы на глаза набегают; лес вековой, светом пронизанный, вокруг шуметь начинает; в нем глубокими морщинами колеи пролегают, а на них трех мальцов идущих вижу...

Успенский на вид казался тихоней, но во всяком деле был головой и запевалой; выдумщик был великий; наплетет, бывало, Бог вещь чего и сам же первый в свою сказку уверует; голос имел примечательный — чистый, звучный: взлетит, бывало, в высь да и трепещется в ней будто жаворонок; брат мой бычком плотным выглядел и баском пел; а я вперекачку медвежонком ходил и вторил как Господь привел! Истинно говорю — Бог в те поры с нами ходил в лесу!

Однажды солнечный закат удивительный был; небо опламенело, малиновое море раскинулось над нашими головами, верхушки деревьев и всякая лужа по пути пылали. Ни стожка сена, ни жилья нигде кругом не виднелось и ночевать доводилось на открытом воздухе; мы выбрали в стороне от дороги овражец с ручейком, развели костер и принялись за свои горбушки с солью.

Спать в тот раз отправились мы на полати — так назывались у нас большие дубы; разместились мы все на одном дереве; внизу костер догорал и краснел, а над лесом месяц сиял. Успенский рядом со мной лежал, лицо его казалось алебастровым...

— Дуб дерево непростое!... — проговорил он сам себе.

— Чем же оно особенное?.. — полюбопытствовал я.

— А ты сказки знаешь?

— Знаю.

— Нет, не знаешь! Вспомни-ка, где нечистую силу подкарауливают да подслушивают люди: на дубах! на само дерево сесть она не смеет и тогда, кто в ветвях сидит, не видит.

— Так ведь это небылицы!... — возразил брат.

— Нет, в сказках все правда!.. — убежденно ответил Успенский. — Ночью на дубе можно узнать прошлое и будущее человека. В старину недаром дубы почитались священными, а старинные люди поумней теперешних были! И вещие птицы Сирин и Алконост на дубах ночуют и разговаривают промежду собой... много можно из тех рассказов узнать!... И вдруг, братцы мои, прилетит сейчас к нам Жар-птица и мы найдем клад и узнаем всю судьбу свою?

— Теперь еще не время... — сказал брат. — Раньше полуночи они не летают. Может, и совсем не покажутся!

— Явятся!... — ответил Успенский. — Видел, как небо все полыхало: это от Жар-птицы всегда такой отсвет бывает! Должно быть, она здесь близко где-нибудь студеной воду из громового ключа пьет! Давайте не спать всю ночь, караулить ее будем?

Предложение понравилось мне и брату; чтобы не уснуть, мы порешили поочередно рассказывать что-либо. Когда черед дошла до меня, глаза мои стали смыкаться, а язык двигался во рту вяло; брат полегонечку всхрапывал, а у Успенского на лице было такое блаженство, что я не решился разбудить его. Да вряд ли, впрочем, я успел бы выполнить такое желание: я оборвался на полуслове, увидел широкую трубу из листвы, тянущуюся прямо к месяцу; и он и перламетровые лица спутников разом исчезли для меня.

Приснился мне сон.

Будто едем мы все втроем в таратайке по незнакомым местам на мохнатой белой лошадке; за кучера правит Успенский и я замечаю, что у него и у нас отросли усы и бородки. Время стояло позднее, темнело быстро, а кругом не виднелось ни жилья, ни огонька.

— Заплутались!... — отчетливо и сердито произносит Успенский.

Наконец впереди блеснул свет, показались темные строения. Подъезжаем ближе и видим небольшую усадьбу, светятся два окошка, а за нею не то избы, не то хозяйственные строения тянутся.

Остановились мы у запертых ворот, брат соскочил на землю и постучался; в ответа раздался собачий лай, затем крикнул чей-то голос и мы въехали во двор.

Дверь на крылечке стояла распахнутой; из нее полосой падал свет. Нас встретила добродушная, пожилая женщина в накинутом на плечи белом вязаном платке и пригласила в горницы.

Через маленькую переднюю мы попали в зальце с гераньками; между ними висела клетка с канарейкой; в одном из углов тускло сиял большой киот, наполненный древними иконами; перед ними синяя лампадка теплилась, мебель в зальце стояла малиновая; у стены этажерка с книгами ютилась... По нашему, по тогдашнему положению, горенка нам за дворец показалась!..

Из боковой двери появилась молодая белокурая девушка с двумя косами до колен... сердце у меня так и екнуло, очень уж собой была приятна несказанно! Все мы поклонились ей, а она, как будто не видя никого, кроме меня, с радостной улыбкой направилась прямо ко мне и протянула вперед руки; на плечо мое перелетела канарейка и залилась песенкой...

И вдруг все разом исчезло.

Я открыл глаза: так ярок был сон, что я не сразу смог сообразить, что я не в доме на постели, а на суку дерева; рядом заливался щегол.

Я рассказал свой сон моим спутникам; ни один, ни другой ничего не видали и мы принялись добираться до смысла моего видения. Решить эту задачу, конечно, не могли и пустились в дальнейший путь.

Прошел с того случая год — другой — пятый — обросли мы бородками и усами уже в действительности и я забыл о своем сне. Кончил я семинарию, подошло время посвящать-

ся, а для этого по нашему духовному положению надо сперва отыскать невесту и жениться. На эти поиски я отправился уже в таратаечке, вез меня мною нанятый обратный подводчик.

В пути прихватила нас непогода; вдобавок ко всему доверился я чужому человеку, за дорогой не следил и он завез меня Бог весть в какую трущобу. Плутали мы, плутали и наконец, уже ночью, завидели впереди огонек и уперлись в какие-то ворота.

За ними послышался лай, затем чей-то голос. Нас впустили во двор и я взошел на крылечко: дверь в дом стояла распахнутой настежь... так и дохнуло на меня чем-то давно виденным, полузабытым. Но где и когда я видел все окружавшее меня — вспомнить никак не мог.

Вошел я через переднюю в залу... знакомый киот стоит, синяя лампадка светится, кругом мебель малиновая... и вдруг будто крикнуло что-то внутри меня — да ведь это все я на дубу еще подростком видел!!..

Захолонуло у меня на сердце, глаз не свожу с дверей — решение своей судьбы за ней чувствую! И ахнул: показалась та самая голубоглазая девушка с двумя косами ниже колен...

Вот и рассказ мой весь... А уж выводы из него делайте сами!

НЕВЕСТА ДУБА

Наш полк шел походным порядком к границе Бессарабии и остановился на дневку на берегу быстрого Прута у запущенного старого парка.

Зной стоял палящий, и только что ружья были составлены в козла и разбиты палатки, солдаты бросились купаться. Замелькали белые тела с коричневыми головами и кистями рук, раздался радостный гогот: парк хохотал тоже.

Мы, трое офицеров второй роты, лежали и сидели в расстегнутых кителях на траве под шатром древнего дуба, отделившегося от толпы своих собратий и одиноко выступившего на край мыска над стремниной реки, нашей тогдашней границы с Румынией.

Четвертым в нашей компании был добродушный и вспльчивый толстяк-доктор; он стоял у самого обрыва и, словно замороженный, не сводил глаз со скромного белого памятника, заросшего кустами и имевшего вид колонки с полуразбитой урной наверху.

Позади нас, в конце аллеи, виднелся большой коричневый дом с куполом над серединой его. И дом и парк находились в одинаковой степени запустения.

— На что вы засмотрелись, доктор?.. — крикнул один из нас.

Толстяк не отозвался и через несколько минут, колыхаясь, подошел к нам:

— Я здесь бывал.... — сказал он. — Места знакомые и с ними связана некая занятная история!..

Доктор грузно опустился на землю.

Разумеется, ми заинтересовались; доктор, как это и предполагается его званию, был неистощимым говоруном и скептиком, и слова его обещали что-то любопытное.

— Впервые я попал сюда лет десять тому назад!.. — начал он свое повествование. — Тогда здесь царили красота и порядок... Имение было богатейшее! Владела им некая Агния

Петровна, девица лет от тридцати до сорока, такая, знаете ли, изящная, аристократка, умница, красивая — ну словом, женихов имелся один полк и два эскадрона!

В один из своих приездов сидел я с ней в бельведере — такая беседочка восьмигранная, белая вон там стояла; теперь не осталось от нее и следа; Агния Петровна мне и говорит:

— А вы знаете, какая легенда связана с этим дубом?

— Нет... — отвечаю, — не слыхивал!

— Ему тысяча лет!.. — продолжала владелица. — Его несколько раз осматривали известные лесоводы, и все одинаково определили его возраст. А груда больших валунов — это языческий алтарь, на котором в незапамятные времена приносились жертвы, может быть, даже человеческие; до сих пор в народе держится глухое предание, будто в некоторые ночи кругом дуба происходят сборища и пляски нечистых сил.

Разговор наш велся под вечер; небо было окрашено необыкновенно ярким желтым светом, и на фоне его, как богатыри на карауле, в черных панцирях, четко и недвижно стояли вековые дубы; в прогалы между ними протягивались к нам то тени, то желтые лучи. Моя собеседница казалась великолепной мраморной статуей.

— Преданию гласит еще и другое: там, где теперь парк, находилось село и в нем жила юная красавица. Имя ее неизвестно; помнят только люди, что была она очень своеправна и избалована. Женихи ездили к ней целыми толпами, но она все браковала их и однажды, когда их съехалось на какой-то праздник особенно много, сняла со своего пальца кольцо.

— Вот вам жребий!.. — объявила она. — Кто найдет мое кольцо, за того я и выйду замуж!

Размахнулась, швырнула кольцо в шапку дуба и убежала.

Женихи принялись за поиски, но сколько ни ползали и ни лазили по дереву и кругом него — кольцо провалилось как сквозь землю. Неделью бились женихи, но так и остались ни с чем и разъехались по домам.

Прошло еще несколько дней, наступил вечер на Ивана Купала; в эту ночь, как известно, молодежь ищет цвет папоротника, гадают по венкам и по огням.

Ночь выдалась темная, бурная, лил дождь, шумели дубы, обещая грозу; вдали поблескивали молнии... В лес показаться нечего было и думать. Парни и девушки накинули на головы полушубки и убежали на посиделки.

Гордая красавица осталась дома и сидела у окошка.

И вдруг ей почудилось, будто что-то косматое и громадное, как колокольня, отделилось от леса и направилось к ее хате.

Холодный пот обдал девушку: в шедшем она распознала дуб, которому бросила кольцо. Вскрикнула, схватила с божницы икону и, твердя «Господи, помилуй», защитилась ею.

Волосы на голове великана состояли из сучьев и извивались как змеи; кряж был в бугристом панцире, глаза светились... Он протянул длинную руку к окну и, будто обжегшись, сейчас же отдернул ее и тяжело передвинулся к двери...

Девушка бросилась в сени, вытянула вперед руки с иконой и встала у порога.

Над хатой прогремел гром и девушка разобрала в роко-те его слова: «Возьми кольцо!»

Хата осветилась.

— Что, это никак гроза?.. — испуганно проговорил голос старухи-матери.

Молния подтвердила ее слова.

Старуха проворно слезла с печи и принялась шарить на загнетке огниво.

— Ах, грех какой!.. — бормотала она. — Такая пора, а лампадка не затеплена!

Она высекла огонь, засветила лампадку и хотела перекреститься, но образа на месте не было.

Бледная, как отбеленный холст, девушка открыла ей все, что произошло.

Старуха закрестила трубу, окна и двери, прочитала заклятье от духов и всю ночь до света обе продрожали у окна на

лавке. А между мазанок то здесь, то там появлялось и бродило привидение дуба и искало свою невесту.

Так и повелось с той поры: в грозовые ночи дуб оживал и с палицей в руке показывался у хат и на дорогах — подкарауливал девушку.

Минуло несколько лет; однажды красавица была на ярмарке, да запоздала из-за танцев и хмельного отца, и в обратный путь они тронулись совсем вечером.

Ночь застигла их в лесу; светил месяц, была тишина и вдруг сверкнула молния и, будто пушка, грохнул на весь лес удар грома. Сторонний проезжий люд поднял кверху головы — небо было чистое, синее и только, будто клоч тумана, быстро неслась по воздуху прозрачная огромная голова; верхушки леса доходили лишь до плеч видения.

Подстегнули своих круторогих волов проезжие и за ближайшим поворотом дороги увидали стоявший воз с мертвой красавицей: пострадала только она одна — отец ее и сивые бугаи оказались лишь оглушенными.

— Вот какую историю рассказала мне владелица имения... — добавил доктор, помолчав.

— Красивая легенда... — отозвался один из нас.

— А что в ней правда?.. — спросил другой.

— Это уж решайте каждый по своему вкусу!.., — ответил доктор. — Впрочем, ведь мой рассказ еще не кончен!..

— Красавицу похоронили на общем кладбище; минуло лет двести и дуб неизвестно почему стал сохнуть. В народе начались смутные толки, будто гибель дуба предвещает тяжкие бедствие всему селению, и сход стариков и знахарей явился на панский двор с просьбой разрешить перенести останки убитой девушки на обрыв за парком и там предать их земле.

Тогда были еще живы родители Агнии Петровны, и они дали свое согласие.

Кости с торжеством перенесли под дуб, на могиле поставили памятник-колонку с урной: век ведь тогда был сентиментальный!

Дерево начало поправляться и — сами видите — благоденствует по сейчас!

Летом за дуб принялись хирурги — пилы и топоры. И когда отрубили один из толстых сухих суков и он с треском рухнул на землю, что-то блеснуло на дереве и к ногам Агнии Петровны подкатилось золотое кольцо очень старинной работы.

Стали исследовать место на дубе, где оно таилось, и у сращения сука со стволом обнаружилась трещина, наглухо заросшая корой.

Как видите, легенда запомнила что-то достоверное!

— А вы видели это кольцо?.. — спросил мой сосед.

— Видел: Агния Петровна всегда его носила... А

— А какова дальнейшая судьба ее?

— Да судьба странная: кажется, всем с избытком был наделен человек и вот — поди ж ты: осталась старой девой. Драма ли какая произошла в ее жизни, горе ли — не знаю!

Однажды я осторожноенько осведомился о причине этого.

Агния Петровна улыбнулась и показала мне свою руку с кольцом.

— Да ведь я же невеста дуба, милый доктор!.. — был ответ ее. — Он сам выбрал меня.

Она по сю пору жива, но где именно находится — наверное не знаю!

Еще туман висел над Прутом и донышко неба только что начало розоветь, когда горны запели зорю.

Лагерь зашевелился; стройные линии палаток сникли и исчезли; барабаны прогрохотали «на молитву» и по фронту покатилося — «Отче наш».

Сверкая штыками, густые колонны полка стали сползать с обрыва на дорогу; с нее открылся пышно вознесшийся к небу дуб-великан; он только один уже видел солнце и алая вершина его, казалось, улыбалась нам. Под ним белел памятник; дальше, в конце парковой аллеи, хмурился коричневый дом с куполом.

Грянула полковая музыка, и ряды солдат разом подтянулись и пошли в ногу.

Я шагал около своей роты и думал о неведомой трагедии, когда-то разыгравшейся в тех благословенных краях, и о загадочной связи, существовавшей, как казалось мне, между рассказанными доктором событиями.

ОГОНЕК

Рассказ

Не спалось.

Я накинул бурку и вышел из душной избы в темень ночи и леса; шумело невидное, но близкое море; гул его то замирал, то усиливался и чудилось, будто по непроглядно-черному ущелью, под звездной россыпью, мчится в нашу глушь неведомо откуда взявшийся поезд; изломы высоких гор, чуть осиянные бледным фосфорическим светом, безмолвствовали.

Было свежо; на луговинке тонули во мраке два низеньких домика; в окошке ближайшего желтел огонек: там был таможенный пост Джубга, куда меня временно командировали из Кутаиса.

Я смотрел на звезды и рассеянно думал о безмерной дали, лежавшей между мной и Москвой.

Почудилось, будто в нескольких шагах от меня, на самом обрыве над морем, стоит чья-то тень.

— Кто здесь?.. — окликнул я; тень разделилась на две части и я распознал двух своих солдат-пограничников; в руках у них были винтовки.

— Мы это, ваше благородие!.. — вполголоса отозвался один.

— На что смотрите?.. — спросил я, подходя вплотную.

— Так что ходит опять!.. — пояснил другой, маленький ростом.

— Кто ходит?

— Кто ж его знает... огонек какой-то!

— Где?.. — Я обеспокоился и оглядел черный простор перед собой; на море не мерцало ни искорки.

— Да не туда глядите, ваше благородие — левей надо!..

Я перевел глаза по указанному направлению и в полугоре приметил чуть дымившийся клочок тумана; сквозь не-

го просвечивал не то фонарь, не то небольшой костер.

— Турки сигналият, контрабандисты?.. — спросил я и ощутил легкую жуть — сталкиваться с этими молодцами доводилось мне впервые!

— Не похоже... — отозвался второй солдат. — Турок с моря сигналы подает!

-- А не пастухи ли костер разложили?

— Пастухов нет. Тут теперь сто верстов насквозь пройди, ни одного селенья не встренешь!

Я вспомнил, что после турецкой войны 1877 года черкесы, населявшие эту часть Кавказа, выселились в Турцию и за истекшие после того пятнадцать лет край запустел и задичал совершенно.

Я заинтересовался странным видением.

— И часто огонь показывается?

— Да как придется!.. Перед грозой беспрерывно является!

— А гору осматривали?

— Излазили ее разов десять и все без толку — там как есть одна чистая луговинка: костра даже и следу нет!

— А засаду делали?

— Так точно! Зайца одного видели.

— Что же это за притча?

Солдаты молчали.

Огонек двинулся вверх по горе, потом остановился, поколебался на одном месте и вдруг потух... тьма занавесила все.

— Завсегда так-то бывает!.. — проговорил маленький. — Посветится и уйдет!

— Душ человеческих тут загублено числа нет!.. — пророчил все время сурово безмолвствовавший высокий солдат. — Без креста здесь шагу ступить не моги!

— А нет ли там болота?.. — продолжал я допрос.

— Никак нет... сухое место!

Солдаты ушли в «казарму», а я долго еще стоял над морем и думал о слышанном и виденном. Ночь бледнела; совсем низко пролетела пара больших бакланов.

С влажным лицом я вернулся в свою хатку, поставил у

двери отсыревшую бурку и улегся на тахту. Заснул я мгновенно, не успев даже наметить, что делать завтра.

*

Когда я проснулся и открыл окошко, утро играло яркое, свежее; в наше ущелье солнышко еще не заглядывало; будто дымки из многочисленных невидных труб, струйками змеился сквозь зелень деревьев туман; с голубого неба взирали на далекую землю снеговые хребты.

Сразу же я вспомнил свой ночной разговор и решил отправиться на охоту туда, где являлся таинственный свет: хотелось разгадать странную загадку; проводниками я взял тех же двух солдат и вместе с ними углубился в ущелье; нас окружала чаща из фруктовых деревьев: яблони, айва, груши, синий медовый инжир, сливы — все целыми потоками заливало скаты гор; между деревьями виднелись полуразвалившиеся сакли из известковых плит; в черных провалах дверей и окон пылали огненные гранаты; отовсюду глядели жизнь и смерть; одолевала жизнь, буйная и радостная.

В Джугбе я провел три недели и мне много раз доводилось проходить одному через мертвый аул; я всегда испытывал при этом какое-то необъяснимое, слегка тревожное чувство, походившее на беспокойство стрелки компаса, зачужавшей близость железа. Так же было и на этот раз, несмотря на присутствие двух спутников.

За аулом нас встретили вечные полусумерки многовекового леса из громадных чинар. Скоро они сменились великолепными стройными самшитовыми пальмами с густыми шапками из мелких листков.

Путь наш пересекала ясно заметная тропа; мы поднялись по ней на горный отрог, потом на второй и с обнаженного гребня его вдруг выпукло развернулось и заблестело море; белыми облаками гудились снеговые вершины гор.

Я подошел к обрыву над пропастью и увидел наш пост, казавшийся в вершок величиной; на берегу стояли две полувытащенные из воды крошки-шлюпки; около них мирно копошились люди. На горизонте не виднелось ни дымка; прибоя слышно не было и только белый пояс вдоль берега свидетельствовал, что он есть.

— Вот на этом самом месте, ваше благородие, огонь ходит!.. — произнес маленький солдатик, указывая на площадку, на которой мы стояли.

Я лично осмотрел всякую пядь на ней, но ни болота, ни следов человека не было ни малейших.

Солдаты мои присели в сторонке на плоском камне, закурили сигарки и наблюдали за моими поисками: высокий нет-нет и с мрачным видом сплевывал вниз на кудрявые вершины пальм.

— А больно хорошо здесь... тепло! — заявил маленький: на веснушчатом лице его отражалось удовольствие. — Чисто вот мы в киятре, как господа, сидим! Горы кругом...

— А что с них проку?.. — отозвался высокий, носатый солдат с глазами в виде родинок, обильно осыпавших его желтое лицо. — Местность испорченная, только и всего!.. — он опять сплюнул с пренебрежением на пальму. — И деревья не настоящие! Вот елочку бы сюда, да березку!

Я вернулся к своим спутникам и лег около них.

— А что старые солдаты говорят об этом огне?.. — спросил я.

— Разно болтают... — ответил веснушчатый. — Женщину молодую, будто, здесь видали... вроде как бы женщину!.. — поправился он. — Пар, так сказать!

— Что же она делала?

— По-над обрывом бродила. А раз даже патрулю в ауле встренулась!

— Не то что ночью, а и днем одному сюда не приведи Бог забрести!.. — добавил угрюмый.

Мы отдохнули после долгого цапанья по кручам и собрались в обратный путь. Внимание мое вдруг привлекла какая-то куча камней, ранее не замеченная; состояла она из булыжин, по краям глубоко ушедших в землю.

— А ведь это могила!!.. — воскликнул я и бросился осматривать ее. Сомнения не оставалось — камни были нанесены руками людей.

Приступить к работе было не с чем; мы отложили раскопки до завтра и вернулись восвояси.

*

Ночь я провел беспокойную, несколько раз просыпался и выходил наружу.

Было светло и лунно; далеко в море прошел, сверкая огнями, пароход на Батум; горы казались черными; над ними сияли белые главы; на отроге с могилой ничего не виделось...

Было много за полночь, когда я различил сквозь сон скрип двери и осторожный зов — «Ваше благородие, а, ваше благородие?»

Я узнал голос маленького солдата и вскочил на ноги.

— Что тебе?.. — спросил я. — Турки, контрабандисты?

— Никак нет!.. Огонь на могиле горит!

Я поспешил из избы к берегу; там уже стояла кучка солдат. На горе действительно снова светился огонь. И опять, как в первый раз, он двинулся с места, поплыл по воздуху и исчез в седловине.

*

Полдень застал нас за работой на горном хребте; солдаты разбрасывали кучу камней и взялись за кирку и лопату.

— И впрямь могила?!.. — удивился высокий. — Грунт рытый пошел!

— Осторожнее, братцы, осторожнее!!.. — твердил я, с волнением следя за каждым движением лопаты; она с хрустом, медленно врезывалась в почву.

Маленький вдруг нагнулся и стал что-то щупать паль-

цами: зажелтела человеческая косточка.

Я срезал три веточки лавра, сделал из них веничек и спустился в яму; осторожно, пригоршнями, я стал выкидывать землю; показался череп, стали обрисовываться ребра. Я бережно принялся обметать их своим веничком и скоро на дне ямы вытянулся во весь рост скелет; таз его и голова свидетельствовали, что перед нами находилась молодая девушка; по сторонам черепа блестели большие золотые серьги с чудесной эмалью; такие же застёжки имелись на плече и на поясе; на косточке мизинца было надето крохотное витое колечко. У ног помещались два длинногорлых кувшина; оба оказались раздавленными тяжестью земли и камней, лежавших на них.

Я тщательно выбрал из могилы найденные вещи; все они были византийской работы приблизительно времен Владимира Святого. Но кто же была сама покойница, как попала она в дикую глушь Кавказа?

Ответа на это не было: его могли дать только ледяные вершины гор да скалы, окружавшие нас.

Солдаты с превеликим любопытством рассматривали «клад» и я пояснил, что перед нами, вероятнее всего, останки какой-либо византийской княжны или знатной девушки, захваченной в плен при набеге на Царьград и умершей в горах по пути в гарем кого-либо из восточных владык.

— Ишь что!.. А ведь креста-то на ней нет!.. — проговорил высокий... — нехристи, должно, сняли?..

— С того она, видать, и ходила: крест себе искала!.. — добавил маленький. — Без него чужая земля гирей давит!..

Я занялся своей находкой, а спутники мои отошли чуть в сторону и вполголоса о чем-то заговорили; маленький снял фуражку, потом пошарил у себя за воротом холщовой рубахи, лег на краю ямы, перекрестил скелет и что-то бережно положил на него.

Высокий стоял, обнажив свою, словно обгорелую, голову.

— Что вы делаете?.. — спросил я, подойдя и тоже заглянув в могилу; на груди костяка я заметил медный на-

тельный крестик.

— А так, что крест я ей свой положил!.. — несколько смутясь, ответил веснушчатый. — Я-то достану себе, а ее душеньке взять его негде!

Мы засыпали яму, отметили ее крестом из камней и стали спускаться с хребта между пальм.

Дома ждала телеграмма: начальство извещало, что мой предшественник выздоровел и завтра прибудет в Джубгу с пароходом, приходившим два раза в месяц; мне надо было выехать с ним.

Сборы мои были недолгие и, когда ранним утром со стороны Новороссийска показался дым, шлюпка со мной и четырьмя гребцами отвалила от берега ему навстречу. Над нашими головами с криком носились чайки.

— Счастливого пути, ваше благородие!.. — желали мне солдаты, когда я подымался по трапу черного грузовика: пассажирские пароходы в такие трупобы не заходили.

Заревел гудок; с берега откликнулось и перекатилось по горам эхо; хребты и ущелья стали уплывать назад; Джубга и место, где разыгралась древняя трагедия, таяли и исчезали в сизой дали; в бледной пра-зелени моря кувыркались громадные дельфины...

Более в Джубге мне не довелось бывать; перестало ли там являться привидение — не знаю, но от сослуживцев слышал, что на месте упокоения византийки солдаты поставили огромный крест из пальмы, видный издалека с моря, а сама могила получила название — «Княжей».

ГОРА

Легенда или быль?

У Н. С. Лескова имеется рассказ «Гора», основанный на средневековой легенде и названный им по месту действия — «египетской повестью».

Египетского в этой легенде нет ничего: она заимствована Лесковым у знаменитого путешественника тринадцатого века, венецианца Марко Поло, и значительно переделана в пересказе. В действительности местом происшествия была северная Персия в районе между Дгарбекиром и озером Урмией; много лет тому назад в бытность мою в этом краю мне довелось наглядно убедиться, насколько правдивы и точны сообщения Марко Поло, которым так долго историки не давали веры.

Восстановлю эту интересную легенду так, как рассказывает ее путешественник и как я слышал ее на ее родине.

*

...Много-много веков тому назад, спасаясь от жестоких преследований своих же христиан, кучка сирийских несториан ушла в пределы Персии и ухоронилась в диких горах. Жили несториане мирно, занимались землепашеством и скотоводством и упорным трудом превратили свои дебри в земной рай; маленькое селение все росло и благосостояние его множилось.

Счастье всегда рождает зависть, нашлись враги и у несториан при дворе халифа, которые задумали погубить их и воспользоваться их имуществом. Но халиф был справедлив и, когда алчный визирь доложил ему, что необходимо покончить с несторианами, будто бы обманами увлекающими темных людей в свое лживое учение и всячески изде-

вающимися над верой страны, он задумался.

— А тебе известно их учение?.. — спросил он.

— Нет!.. — должен был сознаться визирь.

— И мне тоже.. — ответил халиф. — Как же мы будем решать то, чего не знаем? Созови мудрых людей и разбери его. Если окажется правдой, что несториане лжецы и обманщики — я сотру их с лица земли!

Поздно светились в ту ночь огни в комнате совета в белом дворце визиря.

*

Однажды утром пастухи несториан, пасшие овец на скате высокой горы, завидели в мареве степи дым, зоркие глаза их различили, что это пыль, вздымаемая конным отрядом; они поспешили угнать овец в безопасные места, а в селение послали подростка оповестить о тревоге. Гулко заклепал молоток по согнутой железной полосе, висевшей на цепи около церкви.

Жители вооружились и поспешили на площадь, но тревога была напрасной — неизвестные всадники оказались конвоем и свитой двух посланцев самого халифа.

Старший из них, седобородый старик с глазами как ночь, приезде приказал трубить в трубы и, когда сбежалось все селение и выступил вперед престарелый пресвитер, обратился к народу.

— Я приехал к вам от пресветлого, славного во всем мире нашего владыки и повелителя, — произнес он так, что отдалось во всех углах площади.

— От ответа, какой дадите мне, зависят жизнь и смерть ваша! Подайте мне вашу самую святую книгу!..

Пресвитер приказал принести рукописное Евангелие и протянул его посланному.

— Она это или нет? — спросил тот, высоко над головой подняв книгу.

— Она, она! — гулом пронеслось над площадью.

— Скажите же без утайки — правда то, что рассказано в

ней? — продолжал посланный.

— Все истина! — раздался единодушный ответ.

— Все до единого слова?

— Да, да!!

— И вы веруете в своего Бога всеми силами, всею душою и сердцем?

— Веруем и исповедуем! — загремела площадь.

— Ну, вот и прекрасно! — поглаживая серебристую бороду, сказал приезжий. — Значит, вам совсем легко будет опровергнуть слова клеветников и доказать, что вы не обманщики.

— Что же мы должны сделать? — спросил пресвитер..

— Да самые пустяки! — посланный опять поднял Евангелие и уставил на него пальцем другой руки. — Здесь сказано, что если кто-нибудь имеет веру хотя бы в горчичное зерно и скажет горе — сдвинься с места, то она сейчас же сдвинется. Халиф являет вам милость — разрешает вам выбрать человека, которого, скорее всего, послушается ваш Бог. Через десять дней сюда приедет сам пресветлый халиф и вы в его присутствии сдвинете словами вон хотя бы ту гору! — Он указал рукой на степь, на которой неподалеку от селения возвышалась каменистая и утесистая гора.

— Ну, а если халиф окажется обманутым вами и гора не послушается, то пеняйте на себя: значит, вы действительно лжецы и обманщики и книга ваша такая же: всех мужей ждет жестокая смерть, а жены и дочери будут проданы в рабство!

Как онемелые, выслушали жители страшную речь.

Всадники повернули коней и опять пыль заклубилась по степи, а на площади раздался плач и стоны женщин, возбужденный говор мужчин: спрашивали, откуда свалилась им на головы такая напасть и решали, как избыть ее, но ничего придумать было нельзя: спасти могло только чудо!

Но кто бы взялся за совершение его?

Напрасно перебирали имена всех обитателей селения и спрашивать, не чувствует ли кто в себе сил для совершенного подвига; ни у кого не оказалось веры даже с горчичное зерно; старый, всеми любимый пресвитер, когда первым

назвали его имя, покачал дряхлой головой и ответил: «Не могу, дети мои; слабый я человек, только всех погублю!..»

Сперва уныние, а затем страх стал овладевать населением. И с каждым днем он все рос и превращался в ужас: люди зачуяли рядом с собой призрак смерти. Все лишились сна и если засыпали, то ненадолго и пробуждались в холодном поту.

Работы были заброшены, птицы стаями облепляли поспелый виноград и клевали его, но никто не обращал на них внимания; хлеба стоячи распахнутыми и пустыми: животных отпустили на волю. Люди вдруг необыкновенно ясно припомнили все неправды и обиды, которые они причинили раньше своим ближним. И чаще других при этом мелькало имя кривого сапожника Федора, всегда веселого и всем довольного человека, слывшего простофилей и чудачком, которого, в силу этого, принято было обсчитывать или чего-нибудь ему недодавать.

Что бы ни произошло с ним неприятного — он, как бы утешая виноватого перед ним, говорил: «Ничего, Бог устроит!..» и единственный глаз его светился лаской. Этими же словами он успокаивал и других: верилось, что и вправду будет именно так.

Само собой вышло, что общий выбор остановился на сапожнике: утопающие хватаются и за соломинку!!

Один за другим стали собираться к его убогой сакле люди и никто не подивился такому диковинному стечению народа. Пришел даже престарелый пресвитер и, когда раздалась общие просьбы спасти всех, когда матери стали подымать кривому для обороны детей своих, сапожник изумился.

— Да как же я могу это сделать?.. — возразил он. — Я грешный и хуже вас всех!!

Плач и вопль покрыли слова его.

— Не отказывайся, помолись!.. — сказал пресвитер. — Может быть, услышит тебя Господь... И я с тобой в наш Судный день стану рядом.

Заплакал сапожник и согласился.

«Бог устроит!..» — добавил он.

Эти два слова бальзамом пролились на сердца: всем стало легче — «Бог устроит!..», повторяли, расходясь в темноте, люди.

*

Осталось всего два дня до назначенного халифом срока. Цепкая жуть опять обволокла сердца всех; чувствовали ее и животные, по привычке возвращавшиеся вечером к своим загонам; особенно стали беспокоиться кони; даже отары овец, всегда мирно спавшие до зари, начали по нескольку раз в ночь шарахаться и испуганно топотать до рассвета.

Что-то нависло в воздухе; он сделался душнее и даже ночь не приносила пролады; с утра медные отсветы переливались на безоблачном небе; солнце светило почти без лучей; даль как зубчатым лесом была окутана густым коричневым туманом; раза два, неизвестно откуда, доносился глухой гул грома.

— Будет буря!! — говорили старики и надежда на более или менее длительную отсрочку страшного дня заглянула в сердца несториан.

Дверь в саклю сапожника стояла закрытой: в оконное отверстие видели, что он жарко молился, распростершись на полу.

Наступил день Суда.

С восходом солнца все жители селения высыпали, кто на плоские крыши сакель, кто на бугор за околицу и всматривались в степную даль и в небо. Медные пятна разраслись и сделались грознее, будто несметная рать великанов накапливалась за ними, как за щитами; дышать было трудно; солнце подымалось огромным кровавым шаром.

В коричневом тумане что-то сверкнуло: блеск повторился и скоро можно стало распознать движущийся огромный отряд, чуть не целое войско.

— Халиф, халиф!! — посыпались восклицания; все на-

чали креститься.

Войско разделилось; большая часть его остановилась около одиночной горы в стели: там запестрели ковры, стали разбивать походные шатры.

Другая часть подскакала к бугру, на котором было расположено селение; трубные звуки и гонцы потребовали всех жителей перед светлые очи халифа.

Безмолвным покорным потоком стекли все до единого люди на степь и стража повелителя остановила их близ его трона. Впереди находились сапожник и пресвитер.

По знаку халифа их подвели ближе к нему.

— Вы беретесь сдвинуть эту гору с места вашим словом? — спросил он, подивясь на представших перед его очами двух плохо одетых людей.

— Нет, государь!.. — ответил пресвитер. — Мы смеем только помолиться об этом..

Брови повелителя сдвинулись.

— Значит, веры у вас нет даже с горчичное зерно?.. вы обманщики!!

— Государь, — возразил старый священник, — мы честные люди, но пути небесного и земного богов неисповедимы! Все мы веруем в твою благость и милосердие, но ведь не всегда же и ты исполняешь просьбы обращающихся к тебе!

— Я воздаю каждому по заслугам!.. — сказал халиф. — И если Бог ваш найдет вас достойными, то спасет вас. Передаю суд над вами в Его руки! Говорите теперь с горою!

Он махнул рукой — и пресвитера и его спутника отвели перед середину толпы их сородичей и поставили лицом к горе. Оба они упали на колени, и старик воздел вверх руки.

— Отче наш... — пламенно начал он молиться вслух; всех подсудимых трясла лихорадка, ждали чуда, но его не было — каменные кручи высились недвижные, мертвые; не шевельнулись даже кусты на скале.

Пресвитер умолк, оглядел еще раз гору и упал ниц, закрыв лицо ладонями.

Сапожник медленно поднялся с земли и шагнул вперед;

лицо его было бело, как вершина Арарата.

— Сдвинься с места!.. приди сюда!!... — сурово, с беспредельной верой воззвал он.

И вдруг все почувствовали, что земля всколыхнулась под ногами их; раздался гул; все, кто сидел, в стихийном ужасе повскакали с мест: каменные громады пошатнулись, ожили и, сыпля глыбами, двинулись на толпу.

Гора дохнула огнем; грохот потряс воздух; пепел и камни посыпались на персов.

Халиф едва успел вскочить в седло и все войско его, будто вспугнутые птицы, унеслось за ним в беспределье степи.

*

Сам собой напрашивается вопрос — быть это или легенда?

Я отвечаю — быть, и вот почему.

Это древнее гнездо несториан, уцелевшее до наших дней, и поныне пользуется всякими привилегиями, каких не имеет ни одно из соседних селений, сплошь при том мусульманских; не коснулись его и беды времен религиозных преследований.

Близ селения действительно имеется на степи описанная выше гора и, когда я осматривал ее, то убедился, что она не что иное, как очень давно потухший вулкан, однажды пробудившийся на очень недолгое время несколько сот лет назад.

Около кратера его я услышал и рассказ местного жителя, близко совпавший с сообщением Марко Поло.

И когда, выслушав своего спутника, старого несторианина, я неосторожно заметил, что его предков спасло не чудо, а простое, случайное землетрясение, он с глубокой верой совершенно правильно ответил: — «А разве не чудо, что оно произошло так вовремя?».

НЕЖИТЬ

НЕЖИТЬ

От края по край земли разбежались-раскинулись зеленые, высокие горы Македонии; сплошные, дремучие леса заливают их, селение там редкость — это немногочисленные, разбросанные в садах домики-сакли, сложенные из бурых известковых плит. Большая часть их в развалинах; турки и македонцы оставили во время войны свои старые гнезда и ушли искать новую долю и родину.

Брошенные сады разрослись, задичали; деревья стоят осыпанные сливами, фигами; больше всего миндаля — его целые десятины; из высокой травы глядят розы, мальвы и всевозможные цветы; редко кто прикасается к ним и к плодам.

Даже певчие птицы покинули эти места; их заменили стаи куропадок, тысячи перепелов да дикие кабаны.

Иногда в глухой лесной чаще, у входа в сумрачное ущелье, встает безмолвная сторожевая башня — привидение еще римских времен — или развалины замка с черными впадинами окон. Встречаются остатки загадочных, древних дорог, ведущих в неведомую глушь и глубь лесов, куда уже многие века не забредала человеческая нога... Кто их проводил и мостил, зачем, кто жил в башнях и замках — тайна!

Медведи, кабаны и лихорадка — вот главные владыки этих дебрей.

Путник, бредущий по промоинам, заменяющим здесь дороги, редкость; иногда он останавливается и прячется за куст или за ближайший могучий чинар: чудятся голоса и топот ног солдат пограничной стражи или комитов... но нет!.. это вереница желто-черных черепашек показывается навстречу и, тяжело ступая, направляется на водопой; впереди стучит самая большая, шествие замыкает наименьшая. Их здесь тысячи!

Горные цепи вздымаются одна за другой; волны их идут к югу; с последнего перевала открывается бирюзовое озеро Дойран, привольно разлегшееся в широкой долине; за

ним, в синем тумане, опять встают горы — там уже Греция. А по эту сторону, вдоль берега, укрепленного набережной, тянутся извилины улиц мертвого города того же имени, что и озеро.

Крыши на домах его, большей частью двухэтажных, провалились; узкие улочки и площадь заросли бурьяном и кустами; в проломах окон горят красными огоньками яркие цветы гранат.

Кругом — ни души... одни ящерицы млеют на стенах, пригревшись на солнцепеке... полное безмолвие...

А подымешь вверх глаза — под самыми облаками на выступе скалы увидишь где-нибудь недвижимое, черное пятнышко: это чувар или чабан, бродящий со стокой (отарой) овец, стоит на обрыве и смотрит на мир, лежащий у ног его.

Когда сумерки начнут заполнять ущелья и поползут к вершинам гор, на том месте яркой звездой загорится костер; чуть поодаль от него тесными валами укладывается стока; густой запах баранты пропитывает воздух.

Вокруг огня размещаются на ужин усатые, суровые чувары; под стать ночи, все на них черное — штаны, куртки, расшитые тесьмой, круглые шапочки; на плечах у всех накинута белая войлочная чапана... Позади людей, тоже ожидая ужина, сереет кольцо из огромных лохматых собак.

Вызвездит небо, кончается «вечера», люди и псы ложатся ближе к костру, но сон не приходит сразу — начинаются неторопливые разговоры... Много чудного услышишь в такие ночи от чабанов!..

...Возвращался из Струмицы Душан Проданович в село под Джевджелией, да засиделся по дороге со знакомым в свратиште (постоялый двор) за фляшицей ракии и собрался уходить уже под вечер.

Уговаривали его заночевать, напоминали, что коль ночь захватит в лесу, будет худо: зверя встретит — это еще пол-

беды, а ведь по дорогам мертвецы — упыри — бродят, прохожих ждут, чтобы кровь у них высосать: от этих спастись можно разве чудом!

Лишнее выпил Душан, да и торопился к тому же; решил, что поспеет к сумеркам дойти до ближайшего села и наверстает потерянное время. Перекинул он за спину суму, взял свой штап — палку с колом на конце — и пустился в путь.

Прошагал с час времени — вспомнил, что есть другая дорога — ближайшая: стоило только взять влево, перевалить хребет, а там, по ущелью, уже рукой подать до села.

Бодро свернул Душан в сторону, песню замурлыкал; радостно ему почему-то стало, весело! Перебрался по седловине через гору, спустился по каменной осыпи в ущелье; там уже тень сырая залегла; выше, на бледном небе, скалы пурпурно-золотым узором горели.

Лес становился гуще; ручей шумел и белел между крупными валунами; начали меркнуть снизу вверх зубцы гор; под столетними деревьями сгустились сумерки.

И вдруг Душан остановился, как над пропастью: вспомнил, что не должно было быть речки в знакомом ему ущелье!.. Холодок протек между лопатками.

Озирнулся он — и лес не тот: не редкий дубняк, а седостволый — чинаровый.

Повернулся Душан, заспешил назад. Вьется ущелье; не смолкает говорливый поток, нет и следа осыпи! Наконец, показалась открытая полоса ее; с трудом взобрался Душан на перевал и снова спустился: опять шумит речонка, опять чинаровый лес кругом...

Замерло сердце у Душана! Ночь заходила; надо было спешить, но куда броситься?

Начали проступать звезды: мерцало их очень мало и определить направление было нельзя.

Душан наугад пустился вниз по течению.

Стал всходить месяц; пепельно-синий свет залил вершины гор и все ущелье. Речка начала дымиться; среди деревьев расползлся туман — будто мертвецы в саванах перебежали от ствола к стволу, от черной глыбы к другой... в

ветвях над головой сверкали огненные глаза, тянулись посыпанные сине-зеленой чешуей длинные руки.

Спотыкаясь о камни, торопливо шел Душан дальше. Лес, наконец, как отсекло — впереди раскинулось темное поле; тропка сделалась шире, стала полого забирать в гору — значит, близко находилось селение.

Долго ли, коротко ли — завиделось впереди что-то обширное, белое; всмотрелся Душан — хаты рассыпались по скату горы. Позднее время стояло — ни огоньков не видать было, ни лаю собачьего не слышалось. Из последних сил прибавил хода Душан, почти побежал к селению.

Добрався до первого дома и прямо к окошку метнулся — хотел постучать в раму — ан нет ее, дыра в стене чернеет; сунул Душан в нее голову — нежитью дохнуло, гнилью... не имелось и двери. Душан поспешил к другой хате — и та стояла пустая, заброшенная, месяцем посеребренная. Такими же и остальные оказались — в давно брошенное селение человек попал!

Что тут будешь делать? Дальше идти сил нет, да и куда же? В лес спускаться ночевать — еще страшнее, холодно, сыро!.. Огляделся Душан, наметил домик получше других и заглянул в него.

И в нем от двери и окон оставались только дыры. В одно окошко свет месячный вливался: ни лавки, ни чурбана в горенке не было, как метлой была выметена; в дальнем углу печь большая стояла.

Перекрестился Душан, переступил через порог и за перегородку заглянул — там другая горенка, только поменьше, тоже совсем пустая, имелась.

Скинул Душан с плеч котомку, очертил с молитвой ножом между стеной и печью на плотном земляном полу круг и стал в нем устраиваться на ночь. Хоть и раскрыт был со всех сторон приют, а все же спокойнее, чем в лесу!

Сунул Душан сумку в изголовье, положил рядом с собой штап и нож, растянулся на полу и как потекла усталость из ног в землю... Приник немного погодя ухом — тишина везде нерушимая!.. месяц желтый прямо в лицо глядит,

окно словно в воде на полу отражается... И как камень ко дну пошел Душан — уснул!

Обеспокоило что-то во сне сердце Душана... он открыл глаза.

Горенка по-прежнему задымлена месячным светом; у стены бугорок краснеет — большой кусок мяса как будто; нож блестит в него воткнутый...

Заморгал глазами Душан и сел.

— Сплю, что ли, я?.. — Пусто ведь было в хате, не лежало ничего у стены?

И только повел так в мыслях — похолодел весь: из-за угла печи фосфорные глаза на него уставились; показались густые усы и сизое широкое лицо.

С минуту вглядывался человек в Душана; на бритые щеки всползла усмешка.

— Проснулся, брате? — сипло выговорил. — Здорово же ты спал! Добро пожаловать; вставай, вечерять вместе будем!..

И засопел, причмокнул; потом повернулся, грузно пошел к мясу и сел.

— Иди же?.. — повторил.

У Душана отлегло от сердца: не тронул его незнакомец, вечерять зовет, значит, добрый человек!

Есть Душану не хотелось — все кости разломило от ночного похода... лег опять.

— Спасибо!.. — ответил. — Сыт я... притомился очень!..

Что-то проворчал человек, стал есть один... будто лошадь рядом ячмень захрустела.

Опять потонул — уснул Душан.

Во второй раз проснулся он.

В хате темней стало — месяц закатываться начал; между стеной и печью, шагах в двух расстояния, на корточках сидел тот же человек ; руки его были вытянуты, он не то шарил что-то, не то старался дотянуться до Душана; волчьи глаза освещали лицо — оно стало совсем черно-синее.

— Брате, подойти поближе ко мне?.. — пробормотал незнакомец. — Слово тебе скажу великое!..

Упал головой назад, на сумку, Душан и ничего не слышал и не видал больше...

Утром поздно поднялся он — солнце давно заливало светом хату. Потерь он ладонями лицо и сразу вспомнил происшедшее.

Смотрит — нет ничего кругом, горенка пуста по-прежнему.

Поднялся Душан, заглянул в соседнюю — и там никого... в выбитое окно лиловые шишки бурьяна засматривают. Перекрестился Душан.

— Какой чудной сон пригрезился?!.. — подумал.

Вышел на улицу; радость охватила от тепла, от света, от благополучия. Огляделся он, узнал на синем небе свои далекие горы и зашагал вниз, по направлению к ним.

Под вечер Душан сидел за чашей вина на постоялом дворе в том селе, куда думал попасть накануне, и рассказывал, что с ним случилось.

Его слушали, дымя длинными черешневыми трубками, несколько сивоусых селяков.

— Не сон ты видал!.. — проговорил один, прижимая пальцем табак. — Упырь это к тебе являлся!.. Счастье твое, что догадался круг святой очертить: иначе лежать бы тебе сейчас в той хате покойником!..

Париж, 1926 г.

В СТРАНЕ СКАЗКИ

Далеко-далеко на горах Балканского полуострова свила свое орлиное гнездо старая Сербия.

Внутренняя жизнь ее мало кому известна, а между тем, стоит заглянуть в нее!

Зной... Звенят пчелы в столетних грушах, окружающих серую, пятиглавую церковку, еще византийских дней; ветхая ограда ее в развалинах; у входа во двор деревянный навес в виде четырехскатного шатра, и под ним било — толстая, согнутая железная полоса; это колоколья.

Церковка глядит далеко окрест с высокого холма, всюду без конца, без края зеленые и синие лесистые горы.

Храмик полон принаряженных женщин — на них почти те же цветные паневы и вышитые рубахи, что и на наших, в России. Мужчин в церкви мало — только бритые, седоусые старики в широких и длинных белых штанах и рубахах; поверх надеты коричневые и синие куртки, расшитые по спине и груди черной тесьмой.

Молодежи почти не видно — она под голубым небом, на темени горы, на площадке, где подымают оглобли сотни телег и шумит ярмарка.

Против алтаря, у амвона, бугром высится большой, покрытый черной тканью помост; он уставлен блюдами, мисками, кувшинами и бутылками со всякой снедью, вином и ракией; среди яств выделяются целые жареные барашки. Весь холм со съестными припасами, как звездами, усеян зажженными свечами; они же теснятся крутом него; широкая полоса огоньков мерцает на плитах пола и вдоль иконостаса под высокими металлическими подсвечниками: нынче день поминовения усопших, а в Сербии заупокойные свечи ставятся на землю.

В больших чашах подсвечников насыпан песок: туда вставляются свечи благодарственные и заздравные.

С плохо побеленных стен и косяков окон, как сквозь туман, поглядывают фрески — отсветы давно ушедшего мира:

старина любила изображать на них и на иконах своих князей и княгинь молящимися в созданных ими храмах.

Служба идет на так знакомом церковнославянском языке, а напевы чужие — не берущие за сердце, гнетущие, греческие.

После обедни — поминки. Они совершаются вокруг церкви и на кладбищах. И проходящие незнакомые люди получают от поминающих кусок баранины и стакан ракии — водки из слив.

Снизу спешно поднимается в гору запоздавшая кучка людей; среди них вперевалку идут большие, темные звери — это вожаки с медведями торопятся на ярмарку.

После поминальной трапезы и плача — всеобщий пляс.

Визжат и гудят скрипки и контрабасы, десятки пыгана-музыкантов отхватывают в разных местах коло, и вся ярмарка берется за руки и хороводом движется влево и вправо, выплясывая до самозабвения. Пляшут «селяки», пляшут с ними и горожане в пиджаках и галстуках: коло объединяет всех.

В толпе за спинами молодых женщин сидят в лукошках полуголые ребята; у девушек на груди и шее гирлянды из золотых дукатов; на иных надеты щиты с монетами; в городах вместо тяжелого золота встретите застеклянные рамки с тысячединарными билетами в них — своего рода выставка приданого.

Игрище длится до заката солнца. А когда оно скроется за округлыми вершинами, когда гора завернется в сумерки и месяц синим пеплом посыплет землю, — на том же «венаце» соберутся тени умерших: так гласит народная память о тризнах, совершавшихся в том месте в незапамятные времена!

*

Жутки глухие сербские кладбища.

Всегда они на вершине уединенной каменистой горы, заросшей лесом, всегда беспризорные, задичалые. Кресты на них редкость. Могилы тесно жмутся друг к другу; они не-

высоки, сверху прикрыты серыми плитами; над ними, будто сотни привидений в белых саванах, стоят в сумерках под деревьями другие плиты, как головами увенчанные кружками с крестом. Иные будто шевелятся: это тихо колышутся вылинявшие цветные и белые флаги на шестах, воткнутых на могилах недавно умерших, на них лежат фрукты, куски хлеба и мясо в глиняных мисочках — приношение мертвым.

Некоторые из них встают по ночам из своих могил и бродят, ловя запоздалых путников по дорогам и вокруг сел, чтобы насосаться крови: это вурдалаки или упыри... легендами и верой в них особенно полны горы Македонии и Далмации.

В селах и городах, всюду на стенах домов и белых маза-нок с обычными здесь галерейками на деревянных колонках висят венки из особых трав и ветвей — это охрана от вурдалаков.

Пятнадцатый век смотрит из этих венков...

*

Пустынны, пыльцы и сонны провинциальные сербские города. Легенд у них нет, а безвестного прошлого много. И оно глядит отовсюду — неведомое, забытое и заброшенное — в виде полуразрушенных замков, башен, монастырей. Последних здесь изобилие, но все они почти пусты.

Пустынны храмы, пусты монастыри...

Однажды я спросил своего соседа-старика, отчего он не ходит в церковь,

Он искренне удивился.

— Да зачем же? — ответил он. — Ведь у меня все есть!

Священники в городах — духовные лица только во время исполнения треб, в остальное время они обыкновенные чиновники, служащие письмоводителями в полиции, у адвокатов, в суде и т. д.

Ряса здесь не охраняет от солдатчины: знаю архимандритов, проводших Великую войну в окопах с винтовками.

Станным, черным пятном кажется русскому глазу присутствие в театре, среди разряженных дам в декольте, священников и архиереев.

*

Изумительны в Сербии ругательства. У нас за все отвечает «мать», здесь место ее разделяют святые, Бог и даже солнце (сунце)!

*

Спеет кукуруза и виноград... Зной нестерпимый... «небо ясно, под небом места много всем»...

Бури политики — далеко; в больших городах. А здесь шумят только вековые груши и дубы; проулки между плетнями устланы падалицей полновесных слив и яблок; роятся пчелы... било звенит вдали... Пятнадцатый век еще далек до конца!

*

В 1922 году весной я с компанией археологов ездил в Раваницу осматривать знаменитый монастырь, выстроенный еще в XIV веке.

Монастырь затаился на зеленой луговине среди лесистых гор и как все вообще сербские монастыри находится в запущении.

Мы попали как раз в день поминовения усопших, и церковь была полна народом, почти исключительно женщи-

нами.

После обедни вокруг пятиглавой, византийского стиля церкви началось народное пиршество, а мы, пользуясь тем, что церковь опустела, осмотрели ее в подробностях. Фресок сохранилось мало, и то в плохом виде, но настроение эти тени давно умерших людей все же навевают. Слева от входа имеется первоначальная гробница царя Лазаря, куда его положили, привезя прямо с Косова поля, на котором он сложил голову. Впоследствии тело его перенесли в другое место. Монастырь в те времена был обнесен высокой стеной из дикого камня; местами она сохранилась; в одной из уцелевших башен ее устроен свинарник; внизу, в окна уже недоступного второго этажа, виднеются стенные фрески: это остатки каплицы и дворца царя Лазаря. Миновав их, сквозь пролом в стене выходишь на заросший кустами берег шумящей на камнях речонки — Раваницы; за ней почти сейчас же вздымаются горы.

Сопровождавший нас пожилой архимандрит Макарий перевел нас по камням через речку и, пару минут спустя, мы стояли в обширном и высоком гроте.

Из него вел узкий ход куда-то в глубь земли. Архимандрит сообщил, что он три часа пробирался по этому ходу и по сталактитовым пещерам и достиг довольно обширного подземного озера; несколько смельчаков переплыли на другую сторону; глубина воды от одного до девяти метров: проход идет дальше, но до конца его еще никто не добирался.

В Великую войну монастырь пострадал весьма значительно. Все вековые леса кругом были вырублены и вывезены по устроенной болгарами узкоколейке. Библиотека, состоявшая свыше чем из двадцати тысяч томов и насчитывавшая множество старославянских и греческих рукописей, лучшая в Сербии, была нагружена на двадцать пять подвод, вывезена на поле и сожжена; все, что возможно было, ограблено или уничтожено.

*

На обратном пути мы остановились в маленьком городке. Там происходила ярмарка.

Сам городишко был необыкновенно живописен. По улицам шеренгами разгуливали принаряженные «селячки» в своих особых паневах и уборах; обыватели низеньких белых домиков все высыпали на улицы и расположились под деревьями у столиков; кто пил кофе, кто закусывал, все курили и созерцали прохожих.

А на домах пестрели огромные вывески, гласившие о роде занятий блаженствовавших под ними. Некоторые резали глаз и ухо. «Целокупного лекарства доктор» — вещала, например, надпись над одной семьей, состоявшей из трех поколений, человек приблизительно из пятнадцати. Центром ее был почтенный, круглый старичок, восседавший с покровительственно-добродушным видом в плетеном кресле среди детей и внуков.

Кому из наших докторов пришла бы в голову мысль закатить над своей квартирой, как над лавкой, вывеску сажени в три длиной и гласящую, что он лечит от «всех болезней»?

*

Кутят сербы по-особенному.

Вдруг, часов в шесть утра, вы пробуждаетесь от звуков музыки. Если выглянете в окно — увидите пошатывающегося господина блаженного вида, в приличном пиджаке и с котелком на затылке; иногда он останавливается, попляшет, подирижирует и затем двигается дальше.

За ним следует свита не менее как из трех цыган-музыкантов с непременным контрабасом; шествие открывает мальчик или музыкант с графином вина и со стаканом; вино наливается и подается встречному — не выпить, значит обидеть.

Закутивший серб или целая компания гуляк обходит таким порядком весь город и бережно доставляется потом

музыкантами по домам.

*

Археологическая подробность. Всем знакомы небольшие длинногорлые пузырьки, во множестве находимые в греческих погребениях на юге России и в других местах. Их принято называть слезницами.

Не раз я рассматривал эти странные сосуды и каждый раз у меня возникало сомнение в правильности разгадки их назначения. Ну как, в самом деле, было возможно собирать слезы в пузырек, да еще с неудобным для этой цели отогнутым краем горлышка?

В старой Сербии я был поражен, увидав своих старых знакомых — «слезницы» — почти во всеобщем употреблении у простонародья. Размеры их, форма — все точь-в-точь как у древних. И служат они... мерочками, вернее, рюмками для ракии, которую пьют прямо из их горлышка. Это в своем роде «сотки» и для меня нет сомнения, что их ставили к покойнику вовсе не с никому не нужными слезами, которых и наплакать столько было нельзя, а попросту с водкой.

РАССКАЗЫ МОНЕТ

РАССКАЗЫ МОНЕТ

Всякий, кто держал в руках древний предмет — монету или книгу — и внимательно вглядывался в них, испытывал легкое и тонкое воздействие их на себя; говоря грубо — чувствовал душу вещей.

Я всю жизнь собирал монеты и книги, но отнюдь не ради их материальной ценности. Я собирал из-за радости, которую ощущал, держа их в руках. Соприкосновение с ними незримыми нитями связывает живых людей с самыми далекими эпохами, с давно ушедшими из мира тенями, выявляет образ и картины прошлого. Если хотите — назовите это самогипнозом: дело не в названии, а в удовлетворении, какое дают такие переживания.

Мне не раз доводилось часами держать в руках старые книги; я не читал, а только ощущал их, всматривался в переплет, в начертание букв, в отдельные страницы. Если у меня устанавливалась связь с ними — я их читал, нет — отставлял до времени в сторону: надо сперва почувствовать — затем придет понимание и откровение.

Иногда совсем незначущая книга своим видом и внешним воздействием дает больше, чем философский трактат. Но... эти слова — для немногих!

Мраморные, стоявшие на камине, часы пробили 9. Пожилой господин, сидевший за письменным столом, встал, погасил лампу и вышел из кабинета.

Через минуту загремела отъехавшая от крыльца карета, и в доме воцарилось безмолвие. Тихо стало и в только что опустевшей комнате.

Угасавший камин нет-нет и освещал ее. Везде были ковры и оружие, фотографии разных местностей. Были здесь и грозные виды Кавказа с бушующим Тереком в мрачном

Дарьяле, Черного моря и Крыма и далекого, знойного Египта с вечными сфинксами и пирамидами. Между оружием висели кожаные щиты со вделанными в них древними монетами.

Задумчиво и серьезно смотрели отчеканенные на монетах лица; многие были полустерты и словно сквозь туман просвечивали на них чьи-то образы-тени давно умерших, когда-то известных и сильных мира сего.

— Что ж, будем продолжать вчерашнее? — еле слышно заявил екатерининский рубль,

Он так тихо сказал это, что люди приняли бы его слова за шелест былинки, колыхнутой ветром. Но монеты услышали его.

— Будем! — отозвался еще кто-то из них.

— Моя странная была судьба, — проговорила небольшая монета с изображением Сигизмунда III.

— Я появилась на свет в городе Гданске... Теперь он же называется Данцигом...

И я, как и все мы, смутно помню первые дни по выходе на свет Божий. Слишком ново было тогда все, слишком радостно и привольно !

Одно из первых ясных воспоминаний моих — это костел. Как сейчас вижу громадные, нависшие своды, темные, уходящие вверх колонны, фигуры святых, скамейки... Меня держал в руке старый ксендз, вынудивший меня из костельной кружки. Кто-то пожертвовал меня на Божье дело.

Вокруг было тихо. Задумчивые глаза старика остановились на мне, он запер кружку и пошел мрачными, сводчатыми коридорами в монастырь, находившийся при костеле.

Меня в числе других назначили на дело просвещения Жмуди, тогда еще утопавшей во тьме и невежестве.

Местом отправления была Кретинга, находившаяся близ Поланги и Балтийского моря.

Те же фигуры святых, громадные своды и коридоры встретили меня по прибытии.

Близорукий монах-бернардин поднес меня, рассматривая, к самым глазам своим. Черная, старая ряска с капюшоном, опоясанная веревкой, облекала его тучную фигуру; подслеповатые, голубые глаза глядели добродушно.

Он опустил меня в карман свой. Не знаю, сколько времени пролежала я в нем. Он, вероятно, забыл обо мне.

Каждый день я слыхала звуки богослужения: гремел орган, пели молодые, сильные голоса

Раз как-то особенно торжественно и мрачно грянул орган; новые, лучшие и многочисленнейшие голоса вторили ему. Орган точно вел их куда-то вверх, направлял и подсказывал их могучие звуки. Пели реквием.

Костел был полон; творилось что-то особенное. После обедни вся толпа двинулась к алтарю. Оттуда шел спуск вниз. Медленно, со ступеньки на ступеньку, сошел мой хозяин. Сзади неслось пение.

Через несколько минут шествие остановилось; что-то тяжелое поставили на пол.

Началась короткая, быстро шедшая служба.

Мой хозяин опустил руку в карман за платком и вытаскивал меня вместе с ним.

Я упала на каменные плиты, покрытые пылью; никто не услышал моего падения.

Я была в подземелье.

Среди толпы стоял открытый гроб; в нем лежал какой-то пан в кунтуше и при сабле. Огромные, седые усы спадали с боков худого и выбритого лица его, желтого цвета. Жилистые руки были сложены на груди. Все стояли со свечами; в углах горели факелы, освещавшие длинное, сводчатое подземелье; дальше углы утопали во мраке.

Что поразило меня — это то, что подземелье было полно покойников.

Иные, на монашеской стороне, стояли, прислоненные к стенам; другие, светские, лежали в открытых гробах.

— Чудеса, чудеса Божьи! — долетел до меня шепот каких-то двух шляхтичей, пришедших взглянуть на похороны.

— Столько лет лежат здесь — и нетленны!!.

Действительно, будто сейчас только прислонили к стенам монахов и других мертвецов!

Особенно одного как сейчас вижу: рослый, огромный, в платье бернардина, он стоял, свесив седую голову и скрестив на груди руки. Он точно ждал и молился. Кожа его была, как пергамент: уже более двадцати лет как он был похоронен.

Служба кончилась, и один за другим стали все выбираться из подземелья.

Факелы погасли.

Я осталась одна с мертвецами.

Мрак и тишина были вокруг. Только через несколько времени различила я тонкую струйку света, пробравшуюся откуда-то в подземелье.

Затем стали обрисовываться для меня и фигуры покойников и, наконец, я так привыкла к мраку, что, словно днем, стала различать все.

Далекие, едва слышные звуки органа долетали иногда до меня: наверху, значит, шла служба.

Где-то скребли мыши; раз одна пробежала мимо меня, остановилась, обнюхала меня и побежала дальше.

Прошло около года. Наконец, я услышала шум, грохот чего-то, и полоса света ворвалась к нам со стороны входа: отвалили плиту, закрывавшую его.

Приближались похороны: я сразу узнала это по пению. Блеснули свечи, и показалась процессия. Впереди несли моего хозяина.

Он мало изменился: только круглые добродушные глаза его были закрыты. Огромный живот так и бросался в глаза.

Отслужили по нем последнюю службу, прислонили его стоймя к стене, рядом со мной, и подземелье опять опустело.

Года пошли за годами.

Иногда приносили покойников, клали или ставили их и опять уходили.

Я видела, как по очереди вносили туда тех, кто еще не так давно приходил в подземелье, хороня или только присутствуя при похоронах. Я видела, как дети мало-помалу превращались во взрослых, дряхлели и сходили в место упокоения.

Сколько минуло лет — я не знаю!

Умирили и полные сил люди, те, которых не ожидала я видеть близ себя ранее дряхлых, умирали и дряхлые, и ксендзы, и миряне.

Сотни раз всматривалась я в толпу, молившуюся у гробов, стараясь узнать, кого смерть изберет себе следующей жертвой. Иных и совсем не видала я после.

Звуки органа долетали до меня по-прежнему.

Я привыкла к тишине, мраку и отголоскам богослужений, и мне страшно было и думать даже, что когда-нибудь возьмут меня отсюда и бросят опять в толпу людей, осудив на скитание.

Благо тем, кто может проводить жизнь в тишине и спокойствии, созерцая жизнь и прислушиваясь к ней!

Целые поколения схоронили при мне.

Иногда я слышала глухой стук — падал какой-нибудь труп, плохо приставленный или распавшийся. С иными это случалось — особенно со стоявшими в наиболее отдаленном от меня конце подземелья. Там лежали целые груды костей, увенчанные черепами. Мой покойный хозяин стоял невредимый, только глаза его впали еще глубже; щеки втянулись и потемнели. На выбритых лицах многих показалась щетина.

Похороны становились все реже и реже.

Богатые и пышные одежды панов, кунтуши, сабли стали исчезать; появились узкие сюртуки с талиями под мышками и громадными галстуками.

Наконец, похороны прекратились совершенно. Раз в год спускалось к нам духовенство и служило по всем общую панихиду; за тем плита заваливалась опять на год.

Платья покойников приходили в ветхость, разваливались и сползали.

Однажды из протлевшего кармана одного из трупов выкатилась маленькая тонкая монетка и легла рядом со мной.

Она была значительно старше меня и много бесконечных разговоров вели мы с нею, коротая время, делясь прожитым и наблюдениями.

Десять раз подымалась и опускалась плита подземелья, пропуская к нам духовенство.

Наконец, после обычного годового богослужения, ксендзу-гвардиану вздумалось осмотреть хорошенько склепы. Двое монахов с факелами сопровождали его. Он медленно обошел подземелье, всматриваясь в покойников, словно силясь прочесть что-то на мертвых, одеревенелых лицах. Мой бывший хозяин привлек особенное внимание гвардиана. Он долго стоял перед ним, глядя на мертвое лицо его.

— Хорошо жилось, видно, старику?.. — проговорил, вздохнув, и двинулся было дальше, как вдруг носок его сапога ударился в мой край, и я, зазвенев, выскочила из пыли. Один из монахов поднял меня, пошарил еще, где я лежала, нашел мою товарку по заключению и подал нас гвардиану.

— Боже, какая старина?!.. — сказал он, разглядывая нас при свете факела. Затем он поднялся по лестнице. Плита с шумом захлопнулась за нами, закрыв навсегда для меня дорогое мне подземелье.

Денной свет ослепил меня.

Я очутилась в том же, знакомом мне костеле, из которого ушла столетие назад со своим стариком-хозяином.

Был 1830 год.

Кипело повстанье.

Гвардиан отдал меня молодому, красивому шляхтичу, пришедшему к нему за благословеньем на участие в повстанье. Ян Казимир — мой новый хозяин с благоговением, как талисман, вложил меня в ладонку и с тех пор я не расставалась с ним.

Несколько раз я слышала перестрелки, пули свистали вокруг нас, но Ян остался невредимым.

Наконец, наступил страшный день Грохова.

Жаркий бой кипел по бесконечным линиям войск; мы были в знаменитой ольховой роще. Гранаты со свистом дробили деревья и лопались в воздухе. Целые ряды наших, державшихся в роще, падали под огнем русских.

Бешеные атаки шли за атаками. Наши держались; воздух стонал от треска и криков. Несколько раз на штыках врывались русские в рощу и штыками же их выбивали оттуда. Ян действовал богатырски. Старая польская кровь говорила в нем. Но наши начали подаваться; линия дрогнула. Свежие войска русских насели на наших и выбили, наконец, их из рощи.

— Стой, братцы, стой!!.. — кричал Ян, отбиваясь штыком, но его уж не слушали. Что-то лязгнуло, и холодная, твердая сталь скользнула по мне и вонзилась в грудь Яна. Он упал навзничь. Русский гренадер — как узнала я после — ударил его штыком, но, к счастью, только ранил его.

Мы очутились в плену, в госпитале.

Долго проболел Ян, нерадостно было для него и выздоровление: ему предстояла Сибирь.

Бесконечный этапный путь довел нас до Томска; мы шли с целой толпой других, обреченных на ту же участь. В Томске этапных сдали полиции и оттуда уже разослали по городкам и деревням.

Мой хозяин очутился близ Нарыма — небольшого городишки, затерявшегося в вековых чащах великой тайги. Ему отвели участок земли, и он, как простой мужик, взялся за работу,

К зиме поспела и хата. Бесконечные длинные ночи коротали мы с ним в этой хате. Он вынимал меня из ладони, клал на стол и целыми часами задумчиво глядел на меня. Бог весть, что проходило в голове его в то время!

На дворе был мороз; нет-нет и точно пушечный выстрел раздавался в тайге; лопались сосны и другие вековые деревья от холода. Ветер завывал в трубе; волки подходили и грызлись у самых дверей и окон. Жутко жить одному в тех местах!

Жилье было далеко: ближайшая раскольничья деревня находилась верстах в пяти от нашего дома. Почему Ян там

выбрал себе место — не знаю; может быть, впрочем, такое и дали ему.

Лес со всех сторон окружал нас,

С годами Ян обзавелся хозяйством; был у него и огород и пашни; перед хатой вырос забор, скотный двор и сарай.

Но богатство мало утешало моего хозяина; он был грустен и мрачен. Неотвязная дума томила его: ему хотелось на родину, хотелось подышать благословенным воздухом полей наших!

И вот пришел, наконец, давно жданный день: Яну объявили амнистию. Он стал вольная птица, мог идти и ехать, куда ему угодно. Что с ним случилось — и рассказать не могу!

Поручив свое хозяйство старшему работнику, он тотчас же поскакал со мной на Литву. Радостные мысли обуревали его. Он и плакал и смеялся, тиская и целуя меня.

— Домой едем, домой!!.. — повторял он.

Вот и Литва!

Ян выскочил из почтовой телеги, поднял руки к небу, упал крестом на землю и поцеловал ее. Скоро показалась и родная деревня его.

Но напрасно искал Ян старый дом свой; сожженный в повстанье, он не возобновлялся более, и самое место, где стоял он, было распаханно. Зеленая рожь колыхалась и кланялась с бугорка, на котором стоял некогда дом Яна.

Родных не было тоже; никто и не знал их. Новые, чужие лица населяли деревню. Наконец, один старик указал Яну в заглохшем углу кладбища две заросшие крапивой и лопухами могилы.

— Здесь, помнится мне, лежать паны Косюлевичевы!

Ян поклонился могилам и долго стоял перед ними на коленях.

Вот почему без ответа оставались его письма к отцу и матери!

Жаркая мольба была написана на лице его. Потом он встал и тихо пошел в деревню. Никого из старых знакомых... Не было ни сверстников, с которыми он веселился, ни той, которую он любил. Где они все?!..

Отслужив заупокойную мессу, Ян, грустный и понурый, сел в бричку и поехал в Ковно, а оттуда по Неману в Жмудь, к Кретингену. Какие-то воспоминания были связаны у него с этими местами.

Глубокие морщины залегли между бровей Яна; не разгладились они, и когда блеснул перед ним с горы крест дорогого мне костела св. Франциска. Там подземелье, там провела я долгие, долгие годы !

Долго в задумчивости бродил Ян по местечку, всматриваясь во всех. Кого и что искал он — не знаю!

Не отыскав ничего, он тихим шагом пошел к монастырю.

— Дома гвардиан Доминик?.. — спросил он дряхлого привратника, сидевшего у ворот. Тот посмотрел на Яна и не ответил ни слова. Ян повторил свой вопрос.

— Выжил из ума, что ли, старик? — ворчливо ответил привратник, — гвардиан Доминик уже лет пятнадцать как умер!

Ян понурил голову и отошел от ворот.

Все умерло, все исчезло, все дорогое, когда-то любимое! Родина была пуста для него.

Медленно прошел он к боковой калитке, оттуда во двор костела, обнесенного толстыми стенами.

Огромный зеленый простор его был пуст. Ян опустился на колени у входа в костел и припал лицом к серым холодным плитам...

Помолившись, встал, вытер слезы, вынул меня из кармана, поцеловал и пожал меня, как руку старого друга.

— Оставайся и ты здесь!.. — сказал он. — Отсюда я взял тебя, здесь и оставлю!

И я ударилась о дно заржавевшей кружки.

Ян постоял с минуту на месте.

— Ну, а теперь обратно! . . нет у меня никого и ничего здесь! — Он вздохнул. — Прощай, старый костел... прощай все!!.. — Шаги его замерли в отдалении.

На другой день меня вынули из кружки.

В третий раз очутилась я в том же костеле: все в нем бы-

ло по-прежнему, только почернел он от времени, стал еще торжественней и таинственней...

Ксендз выменял меня теперешнему хозяину...

— Это я была с тобой в склепе!.. — торопливо сказала маленькая литовская монетка с изображением скачущего всадника на одной стороне и подобием двуглавого орла на другой.

— Я старше вас всех, вероятно?

— Я отчеканена в 1547 году, в Вильне. Первое воспоминание мое — ясный день, бесконечная, волнующаяся степь с синеющей далью. По ней движется наш отряд, блестя кольчугами и острыми пиками. Шли на татар. Несколько дней не встречалось ни куста, ни деревца; о татарах не было ни слуху, ни духу. И вдруг мы наткнулись на огромное полчище их. Отряд весь полег в сече.

Убит был и мой хозяин-ратник, не раз любовавшийся мной, сидя на коне своем. Меня взял какой-то бритый татарин и увез с собой в Крым.

Долго пробыла я там; видела Черное море, великолепные, теплые берега Анатолии, видела ханов и мурз их.

Не раз ходила я с татарами на Москву, видела разорение ее, Рязани и многих других городов русских...

Монетка говорила, торопясь и захлебываясь, точно спешила высказаться, вылить в словах всю свою богатую историю, перечислить все, что видела и что произошло с ней.

— Много видала я и если бы все стала рассказывать — хватило бы на многие годы!

— Да, целые десять лет я нескучно провела, слушая тебя! — отозвалась монета третьего Сигизмунда.

И вдруг почему-то все стихли. Датская монета 1601 года, короля Христиана IV, начавшая было рассказывать, остановилась.

Точно вздох прошел по комнате.

Медленно, отчеканивая слова, заговорила старейшая из медных монет.

— Ничто ваши опыты и знание! Две тысячи лет я странствую по свету, две тысячи лет я живу и наблюдаю. Моя родина Греция, эллины народ мой... — Словно сама с собой говорила монета: медленно и задумчиво лился голос ее, отзвук бесконечно давно минувшего.

— Голубое, безбрежное море... Нагруженные суда отплывают в далекий Египет... В Афинской гавани суета...

Пески и пески... Медленно идет караван верблюдов, истомленных зноем и жаждой. По щиколку вязнут ноги в раскаленном песке; ни воды, ни деревьев... Самум иссушил всю бывшую в бурдюках воду...

Караван сбился с дороги. Реки и озера видны в голубом пламени дали, но нет там ничего — пустыня, одна пустыня...

Смерть веет жгучим дыханьем!.. Люди и верблюды превращены ею в белые кости, лежащие на песке. Я в сведенной руке одного из скелетов... Целые годы он держит меня в ней... Белые бурнусы осматривают кости: бедуины, дикие сыны пустыни, наткнулись на них. Я найдена!

Вихрем летят кони! Темно-синие звездные ночи в пустыне; звучит гортанная, заунывная песнь. Вдали Мемфис, пирамиды и одна величайшая — фараона Хеопса...

Я в углублении сбоку, на самой вершине ее. Я все вижу!

Солнце всходило и заходило, шли караваны, мирно текла жизнь...

Новая, дивная звезда заблестела на небе! Гадают, толкуют о ней... Прошли слухи о новом, великом пророке в Иудее, забродили умы, всколыхнулись люди. Толпы прошли у ног моих на восток поклониться Ему...

И все исчезло в веках... Сон ли это, был ли? Только пирамиды и сфинксы да я, взиравшие на вечное небо, свидетели прошлого... Люди гадали, вопрошали звезды... Что же узнали гадавшие? К чему послужило их знание? Где они?

Смерть и тлен удел всех живущих! Говорили в Египте: —
Ныне человек, завтра прах, развеваемый ветром!.. Нет, бес-
конечность и счастье и в жизни и в смерти!

Труп лежал у подножия пирамиды, распался и на кам-
нях зазеленела трава, — новая жизнь вышла из смерти.
Смерть есть отдых пред возрождением!..

Тихо было в комнате. Все молчало, внимая речам по-
лустертой двутысячелетней монеты.

Только уголь в камине потрескивал и то вспыхивав-
ший, то угасавший огонь освещал ряды умолкших монет;
часы на камине важно отбивали минуты, уходившие в
вечность.

Одесса, 1899

МОНЕТА РИСКУПОРИДА II

Этюд

Случайно, на чужбине, я нашел в своих вещах медную монету царя Рискупорида II и незримая нить памяти протянулась от меня к далекому Крыму.

*

Высокий глинистый мыс. Отвесные обрывы его разделяют серебристую зыбь Черного моря от голубого Керченского пролива — древнего Босфора Киммерийского.

За десятиверстной ширию его, у подошвы горы Митридата, пятнами белеет Керчь — прежняя Пантикапея. А на этом, кавказском, берегу разбросались сады и хатки; на просторных пыльных улочках нежатся на солнцепеке куры и свиньи; прохожих — ни единого.

Эти хатки — Тамань, древнерусская Тьмутаракань, так долго разыскивавшаяся историками. К северу от крутого обрыва ее расстилаются низины: отсюда когда-то начинались знаменитые Меотийские болота, превратившиеся теперь в озерки и степи.

Ранее полуостров назывался цветущим Синдом... теперь он сплошная пустыня, изумрудная и ароматная весной и желтая и выгорелая к середине лета. Нет на ней ни домов, ни селений. Только бесчисленные курганы сопутствуют здесь прохожему.

Над Черным морем задумались вереницы скифских курганов; над Азовским — греческих.

Раскопки, вернее, грабежи в тех глухих краях показали, что под этими громадными холмами скрываются целые города, след которых давно утрачен историей. Глубоко в земле отыскивались Фанагория, Корокондама и многие другие.

Арабы называли Тамань «Великолепной» и древний историк их, Эдризиджи, пишет, что город этот велик и богат и весь окружен садами.

Владимир Святой в 1015 году отдал его в удел сыну своему Мстиславу Удалому. Тмутаракань была тогда пышной: бело-мраморные здания ее чередовались с садами; в ней было свыше двухсот фонтанов. Близ города находился громадный водоем в две версты в окружности, служивший для орошения садов.

И вот пришло время — и обезлюдели и стали зарастать травой и заноситься пылью цветущие города...

Мне кажется, что сказку о заколдованном окаменелом царстве создал тот, кто побывал в старину на таманском полуострове: мраморные статуи были сочтены им за окаменевших людей.

Двадцать лет войн Екатерины Второй с турками окончательно погубили еще стоявшие тогда остатки царств. Тенистые сады были вырублены и ушли на топку, водоем спустили... только ястребы носились и жалобно вабили над безводной пустыней.

Для заселения края людьми Екатерина II направила в него часть запорожцев, оставшуюся ей верной после разорения Сечи. Три тысячи двести сорок семь чубатых голов под начальством полковника Саввы Белого высадились 25 августа 1792 года у Тамани и положили начало кубанским казакам.

В 1794 году Суворов из имевшегося в изобилии кругом материала построил между Таманью и древней Фанагорией крепость: на казармы, склады и караульни ушли еще высившиеся древние мраморные колонны и капители; статуи, плиты с надписями и прочий каменный материал кололись и пережигались на известь. Тмутаракань наших летописей сгинула с лица земли!..

Местонахождение ставшего легендарным города открыл случай.

В царствование Николая I какой-то проезжий сидел в Тамани в ожидании лошадей на пороге казармы и обратил внимание, что он мраморный и что на нем имеется сла-

вянская надпись; она гласила, что в 1068 году князь Глеб мерил в том месте море по льду от Тьмутаракани до Крчева (Керчи).

Раскопки открыли, что там, где ныне стоит церковь Покрова Богородицы, во дни владычества пантикапейцев находился греческий храм. Мстислав Удалой переделал его в русскую церковь; при турках она была мечетью, а в 1794 году на развалинах ее запорожцы возвели нынешний храм.

Кругом нее — запущенный старый сад; весь он усеян частями беломраморных колонн, капителей и пр. древнегреческих времен; за садом раскидывается старинное русское кладбище... Из полутемного помещения под колокольней и вокруг нее смотрят плиты с древними надписями, остатки памятников, статуй.

Части древней Тамани уже не существует — она обрушилась в море вместе с обвалами мыса. Проезжающие на лодках вдоль берега часто видят в толще земли его красные амфоры в рост человека и еще большие, как бы вознесенные на огромную высоту и вставленные в отвес обрыва; достать их невозможно и через некоторое время после своего появления они рушатся в море и разбиваются на куски; вместе с ними иногда обнаруживаются скрытые глубоко под землей фундаменты, стены... и их постигает та же судьба.

Узенькая, аршина в два шириной тропочка огибает мыс у самой воды; неизменно после каждого волнения и бури волны пролива выкидывают древние монеты, драгоценные кольца, кубки и т. п. дары богу моря, когда-то принесенные древними мореплавателями; жертвы эти давались свыше трех тысяч лет тысячами тысяч людей.

Высшая точка таманского берега, Лысая гора, увенчана двумя громадами-курганами.

Много лет копались в них кладоискатели, выламывая и вывозя для продажи камень, а в 1916 году наткнулись на склеп с мраморным саркофагом и множеством драгоценностей. Последние были немедленно проданы в Керчь, а саркофаг попал в руки археологов.

Равного ему по красоте и искусству работы до сих пор в Южной России не находилось; кое-где на нем имелись сле-

ды розовой и золотой раскраски.

Доставка саркофага в Тамань оказалась крайне сложной; несмотря всего на версту расстояния, до города потребовалась особая платформа; ее нигде не оказалось и пришлось крышку отдельно положить на арбу, запряженную волами.

Для гробницы были изготовлены дубовые массивные брусы-полозья почти в аршин толщиной; саркофаг везли двенадцать пар лошадей, их оказалось мало и пришлось увеличить упряжку.

Не сделав и половину дороги, полозья стали дымиться и гореть и во весь остальной путь их поливали водой; когда саркофаг, наконец, дотащили до Вознесенской церкви, что у памятника казакам, от полозьев осталось меньше двух вершков в толщину: такова была тяжесть гробницы без крышки!

*

Вот что вспыхнуло у меня в памяти от вида полустертой монеты.

А с полки глядит на меня и мои книги белый череп безвестного царя, двадцать пять веков спавшего в описанной гробнице.

И мне кажется, что мой безмолвный собеседник улыбается и хочет сказать мне, что все на свете имеет свой конец и свое воскресение.

ЗАМОК С ПРИВИДЕНИЯМИ

В КАТАКОМБАХ

Первый год своего офицерства я провел в Вильне, затем попал на Кавказ.

Вильна — один из самых красивых городов мира — говорю это, объехав почти весь свет. Описывать ее, конечно, не стану, скажу только, что я жил вместе с товарищем и другом моим, Дмитриевским, на самой дальней окраине ее, в предместье Поплавы, в длинном одноэтажном деревянном доме его милой тетки — Кунигунды Окушко.

Дом весь утопал в кустах сирени; садик упирался в плотно железной дороги; почти над самым домом, на крутом, желтом яру стояли три гигантские сосны и, точно морской прибой, вечно шумели то тихо, то грозно.

Ходить на службу, в город приходилось извилистыми закоулками среди сплошных высоких частоколов; по сторонам зеленели сады: Вильна славилась своими фруктами.

Поплавы занимают глубокую ложбину среди невысоких взгорий; город начинался на горе и на крутом обрыве ее стоял занимавший громадное пространство старинный монастырь, упраздненный после польского восстания. Облупленные, потемнелые здания его и костела глядели из-за белых высоких стен и видны были со всех сторон.

Я всегда увлекался историей и, попав на родину моих отдаленных предков — в Литву — с неизъяснимым восторгом, пядь за пядью, изучал страну и ее столицу Вильну. Исколесил я край пешком вдоль и поперек, едва не погиб в Сахаре близ Немана, не раз блудил в вековых лесах — тогда еще девственных, населенных медведями и дикими козами.

Знакомых у меня почти не имелось, и я весь поглощен был впитыванием в себя Литвы.

Из Москвы я привез драгоценную кладь, главнейшее свое имущество — огромный сундучище с собранием стихотворений всех русских поэтов. Они и старина — вот что наполняло тогда всю мою жизнь.

Разумеется, пропустить без осмотра монастырь над Поплавами я не мог; основан он был чуть ли не при Кейстуте, и притом православными, и лишь много позднее был захвачен и переделан поляками.

Но напрасно обошел я кругом монастырь, ища вход в него. Попробовал ломиться в запертые ворота, в калитки — все было закрыто на большие ржавые замки или заколочено; никаких сторожей не имелось и следа.

В деревянных, окованных железом, воротах сквозили большие щели; припав к ним, я видел громадный, широкий двор, весь заросший лопухами и высокими травами; за ним вставало мрачное здание костела.

Путь в него был единственный — через стену ограды. Со стороны города там пролежала улица — пустынная и пыльная: ближайшие к ней домики таились за деревянными палисадами.

Лазать офицеру через заборы не совсем-то удобно, но делать было нечего.

Я сговорился с Дмитревским, тоже очень интересовавшимся загадочным монастырем, и отпросился на денек у своего ротного командира, добрейшего К. Ф. Попова; Дмитревский освободился тоже, и мы, захватив с собой моего вечного спутника по шатаниям, чрезвычайно походившего на белого кролика, денщика и философа Карася и черномазого Ивана, ранним утром пустились в поход; Иван нес мешок с толстой веревкой, пару свечей, спички и мел для пометок; Карасю поручен был наш завтрак.

Улица вдоль задней стены монастыря безмолвствовала. Мы выбрали близ дальнего угла местечко, где над стеной зеленым стогом высилась, закрывая часть ее, огромная шапка каштана; денщики подсадили нас; мы, сидя верхом на стене, втянули их при помощи веревки, затем по могучим сучьям перебрались на дерево и спустились на землю.

Полнейшее запустение окружило нас; крыши надворных строений частью прогнулись, частью провалились совершенно; стекла в окнах всюду были выбиты; из живых существ в монастыре имелись только галки, сотнями жившие на колокольне.

Мы осмотрели и обошли потемнелый от лет костел; он оказался запертым тоже; на высоких окнах его чернели железные решетки; снизу, из травы и кустов на нас смотрели провалы — дыры в подземелья.

Мы стали на колени и заглянули в них. Там царили полусумерки; можно было различить серые плиты пола и крупные камни, видимо, скатившиеся из окон; дальше, в потемках, намечалось что-то походившее на лежавшие брусья дерева; пол находился ниже уровня земли приблизительно на сажень.

Мы оставили денщиков ждать нас, а сами забрали свечи, мел и, ногами вперед, на животах, съехали в подземелье.

Оно оказалось обширным. В углах и под самой стеной выбивалась травка — нежная, почти белая; пол устилала сухая листва, очевидно, нанесенная со двора ветром; в глубине, в стене, намечалось черное отверстие.

Древесные брусья очертились явственней: мы узнали в них гробы; они рядами во множестве стояли поверх пола...

Мы зажгли свечи и подошли к ним вплотную. Многие из гробов были открыты: в них лежали не скелеты или кости, а точно вчера умершие, сильно исхудавшие люди; я видел бритые щеки, усы, носы, лбы, подбритые у мужчин, сложенные на груди руки... только нагнувшись над самим гробом, можно было сказать, что перед тобой высохшее тело. Впоследствии я не раз видел мумии и должен сказать, что природа искуснее египетских бальзамировщиков — ее заботы сохранили мертвецов значительно лучше: для этого «чуда» ей, оказывается, достаточно самого простого, сухого подвала!..

Мы приподняли с десятков крышек. Замечательно, что строгих выражений на лицах не было... Я подолгу всматривался в них и воочию почувствовал нирвану индусов — этот бесконечный и безразличный покой...

Мертвецы были одеты в старинные платья — в разноцветные, выцветшие кунтуши; особенно вылинял голубой цвет — сделался грязно-белым; нарядные одежды многих были оторочены мехом и кружевами.

Малиновый кунтуш на одном из покойников был порван на плече; я чуть тронул его и разрыв пополз дальше, по целому месту без малейшего треска.

С сильно бившимся сердцем, молча, обошли мы вереницы гробов: мы ведь находились среди тех, что давно стали незримыми для человеческих глаз: на изголовьях черных жилищ их еще можно было прочесть имена и даты смерти — между 1600 и 1675 годами...

У прохода в стене мы остановились и посветили в него; в густом мраке намечался бесконечный коридор, шириной около сажени. Мы вступили в него; наверху, в наружной стене, двумя тонкими синими струйками пробивался свет; там находились когда-то оконца — теперь их завалил всякий мусор.

Что-то еще более странное, чем в первом подземелье, поразило нас: почудилось, будто по сторонам коридора двумя вереницами стоят и ожидают нас люди.

Мы подняли выше свечи и сделали несколько шагов вперед; пол густо, как ковер, покрывала мягкая пыль.

Мы не ошиблись: слева и справа, почти плечом к плечу, стояли монахи, одетые в коричневые рясы и подпоясанные белыми веревками; капюшоны полузакрывали бледные лица, головы были опущены на грудь — мертвецов спелены-вали и прислоняли к стене; руки всех были скрещены, как на молитве.

Свет наших свеч колебался по стенам и казалось, что фигуры движутся и выглядывают друг из-за друга.

Жуть охватила нас обоих.

Озираясь и всматриваясь в лица загробного общества, мы медленно продвигались как сквозь строй. Один монах привлек к себе мое особенное внимание, и я остановился около него; Дмитревский отстал, и желтая звездочка его огонька мерцала далеко позади.

Передо мной стоял громадный, бочкообразный человек; лицо его было видно плохо, и я нагнулся, чтобы заглянуть под капюшон. Впалые, словно слепые, глаза были закрыты; седая щетинка — борода — покрывала щеки: волосы ведь продолжают некоторое время расти и у умерших.

И вдруг я явственно услышал, что в толстом животе мертвеца что-то забурчало!

Я дрогнул и быстро опустил свечу к животу: из него на меня глянули оживленные, черные глазки — коринки — и узкая мордочка мыши: она прогрызла труп и в необъятном брюхе устроила гнездо свое.

Страх сразу исчез. Я пощелкал пальцем по чреву монаха — раздался такой звук, как если бы я ударил по картинной пустой коробке. Я поставил свечу на пол и приподнял мертвеца — в своем роде Фальстафа — не только безо всякого усилия, но буквально, как перышко: так иссыхают тела в подземельях!

Я поднял еще двух-трех соседей... странно было держать на руках, как куклу, рослого человека — все они казались сделанными из папье-маше. Не отсюда ли пошла легенда о «подделке» мощей?

В нескольких местах — под оконными отверстиями, — стоявшие там мертвецы превратились в груды костей; даже признака лохмотьев одежд не сохранилось — вероятно, тела уничтожила сырость еще в очень давние времена.

Длинный коридор наконец кончился — впереди засерели ступени каменной лестницы, ведущей наверх; свода над частью ее не было, его заменяли доски не то пола, не то плита.

Мы поднялись по ней насколько могли и дружными усилиями спин и рук сдвинули преграду и выбрались в приоткрывшуюся щель.

Сумерки, встретившие нас, показались после полной тьмы подземелья ясным днем. Мы стояли в костеле у бокового алтаря; отодвинутый нами щит был алтарный помост, закрывавший ход вниз.

Обошли мы и осмотрели костел. Он был мрачный, запущенный, но все в нем было на месте: раскрашенные, почерневшие статуи, иконы, запрестольные украшения...

Посидели мы на скамье против главного алтаря, обменялись мыслями, послушали тишину... несколько раз мимо нас и под самым сводом черкали воздух летучие мыши...

Мы отправились обратно.

Денщиков наших близ окна видно не было. Мы покричали им, но никто не отзывался: как выяснилось потом, они сладко уснули в траве на солнышке. Выбраться, между тем, без помощи их из подземелья можно было, лишь подтащив и поставив друг на друга пару закрытых гробов; делать это не хотелось и мы принялись палить чем попало, наугад, во двор. Один из наших снарядов — ком земли — угодил в Карася и нас извлекли веревкой на свет Божий.

И как же оценили и поняли всю прелесть и красоту голубого неба, солнца и всякой травки, мы, вернувшиеся с того света!..

Лет двадцать спустя, возвращаясь в Петербург из круговой поездки по Польше, я остановился в Вильне: хотелось подышать воздухом Литвы, повидать старых друзей, посмотреть на милые места, так тесно связанные с моей молодостью...

Поплавы не изменились. Те же сады и частоколы встретили меня; домик Окушко совсем, по самые трубы, утонул в сирени; по-прежнему важно шумели над ним красные сосны. Но самой тетки в уютном домике уже не было — им владела незнакомая мне сестра ее. Дмитревский был на Дальнем Востоке, сестры его повыходили замуж и разохались по разным городам...

Кто возвращается после двадцатилетнего отсутствия, тому знакомых своих лучше всего искать на кладбище!

Прямо из Поплав, по полотну железной дороги, я прошел на тихое, лесистое кладбище, где под громадой-крестом из гранита покоится знаменитый Сырокомля; я еще офицером любил навещать его могилу с томом его стихов в кармане. До сих пор помню его —

— «Эх, пойду я к дедам в гости,
Им поклон отдам;
Жбанчик меда на погосте
Выпью, где лежат их кости,
И поплачу там!..»

Могила названной тети отыскалась неподалеку от него. Положил я на нее последнюю дань свою — пучок нарванных мною же полевых цветов, посидел у невысокого холмика, укрывшего под зеленой шубой эту сердечную и приветливую женщину и через Острую Брамму вернулся в город.

Там меня ждали жена и обе дочери: я хотел осмотреть с ними знаменитую когда-то «бывшую» коллегия отцов-иезуитов, а главное — подземелья ее, паутиной расходившиеся в разных направлениях под городом.

Описывать коллегия не стану; упомяну лишь, что несколько громадных комнат в ней были от стены к стене, вплотную заполнены уложенными прямо на пол, как кирпичи, всевозможными старинными книгами; высота этих штабелей доходила мне до плеч.

Это были библиотеки, взятые из монастырей и конфискованные у магнатов во время восстания. Пыль покрывала их на добрый вершок...

Спуск в подземелья должен был состояться в костеле.

Его заперли; несколько человек рабочих отодвинули справа за колоннами помост одного из алтарей, и открылось черное отверстие схода; вниз вела каменная лестница, — все было так же, как в костел над Поплавами.

Нас сопровождали ксендз и закристиан, несший зажженную керосиновую лампу; все мы запаслись свечами, рабочие взяли ломы.

— Давно уже сюда не ходили!.. — сказал словоохотливый ксендз. — Около полувека!

Он пояснил, что по их старинному плану подземелья идут в три яруса; по его словам, в дни восстания, по приказу Муравьева, в них был произведен обыск, затем они были замурованы: генералу донесли, будто бы в них скрываются повстанцы, а в гробах, наполняющих их, хранится оружие. Я переводил его слова своим спутникам.

Лестница свела нас в чрезвычайно широкий, длинный и очень высокий коридор; своды его опирались на два ряда кирпичных колонн.

Коридор был пуст; только в одном из углов, за колоннами, виднелся небольшой ряд гробов. Крышки на них не заколачивались, и мы приоткрыли некоторые и увидели иссохшиеся тела людей с сохранившимися волосами и платьями. Медные дощечки с надписями поведали нам имена умерших — все это была знать времен императора Александра I.

Дальше, через несколько шагов, на самой середине коридора мы нашли оброненную кем-то в давние годы черную епанчу. Гробов не было и следа.

Я спросил о причине этого у ксендза и тот пояснил, что по тому же приказу Муравьева все гробы были снесены в нижние подземелья, в силу чего верхний ярус оказался «очищенным». Ксендз как-то странно произнес это слово.

Громада-коридор уперся наконец в глухую стену; при свете лампы и свеч на поверхности ее сырым пятном явно обрисовалось место заделки.

Рабочие быстро выбили ломами несколько рядов кирпичей и сунули в отверстие руки со свечами: за стеной, в полном беспорядке, почти под самый свод, были нагромождены друг на друга черные гробы.

Чтобы пройти дальше, надо было перелезть через набитую ими комнату; рабочие расширили пролом, и я со свечой в руке полез вверх по осклизлым крышкам и бокам гробов.

Комната оказалась обширной; мы добрались до противоположной стены и опять увидели заложенное кирпичами место.

Рабочие с трудом выломали в тесноте несколько слоев их, и мы протиснулись в отверстие. Перед нами уходил вглубь земли другой коридор, такой же пустынный и высокий; мне показалось, что широкая дорога его склоняется вниз.

Освещая свой путь, мы двинулись дальше. Скоро во мраке, впереди, выявилось что-то черное — не то осыпь, не то какой-то предмет; еще несколько шагов и мы различили человека, сидевшего в кресле. Одет он был в темную рясу; поникшую голову и лицо его закрывал капюшон.

Мы осветили его. Можно было поклясться, что перед нами в старинном кресле находится уснувший или глубоко задумавшийся человек; руки его были сложены по-обычному; на безымянном пальце одной блестело узкое золотое обручальное кольцо.

Дочь потрогала его; оно двигалось по иссохшему пальцу, но не снималось — мешало утолщение сустава. Что было вырезано внутри этого, загадочного для монаха, кольца, — осталось нам неизвестным.

Мертвый как бы стерег стену; когда мы осмотрели ее — сейчас же за ним отыскивали место заделанной двери. Мертвеца отодвинули вместе с его креслом, застучали ломы и через четверть часа мы вступили в длинную, как добрая рига, сводчатую комнату.

Свечи озарили поразительное зрелище!

Все помещение почти под потолок было завалено покойниками; гора их понижалась от середины к стенам и около них, по слоям трупов, тянулись как бы дорожки для прохода.

Мертвые были набросаны кое-как; в жуткой каше, впережку, рядом торчали головы, ноги, руки, спины... бархат кунтушей чередовался с пышными платьями дам; на большинстве одежды были изорваны, сквозь шелк и кружева виднелись голые части тел, вернее, кожи, плотно прилипшей к костям.

Чья-то рука высунулась на самом верху по локоть и как бы безмолвно взывала к небу; так вскидывают в последний раз руку утопленники перед окончательным погружением в воду.

На головах двух усатых панов были плотно натянуты замшевые подшлемники... все лежавшее перед нами было цветом польско-литовского рыцарства XVII и XVIII веков!

Теперь все были равны и все неизвестны в этом хаосе!

Я обошел кругом этот горный хребет из мертвецов. Идти приходилось по телам; я чувствовал под ногами грудные клетки; они сжимались и опять расширялись и, казалось, мертвецы дышали.

У двери, где безмолвствовали мои спутники, лежали в виде небольшой штабели дров то головами, то ногами наружу детские трупки.

Дочь взяла один из них за ножку и изумилась его легкости. Потом слегка постучала им о косяк входа: — «совсем как вобла!..» — сказала.

Над нами послышался слабый и глухой гул — будто гроза начиналась в отдалении.

— Трамвай прошел!..— проронил ксендз. — Мы ведь под улицами города!

Немного погодя донесся новый, но уже совсем чуть слышимый звук.

— Не труба ли архангела?.. — сказал я.

— Экипаж... — отозвался ксендз.

Снова наступила действительно могильная тишина...

Мы бросили последний взгляд на мертвецов и оставили их ждать наступления Страшного Суда...

Новгород, 1912 г.

ЗАГАДОЧНОЕ ИМЕНИЕ

В четырнадцать верстах от Туккума находится — выражаясь по-современному — «центр» имения Пленен.

Огромный, коричневый одноэтажный дом с высочайшей черепичной кровлей затаился на холме среди вековых лип и кленов. В доме — по-местному, в замке — двадцать обширных высоких комнат; он имел когда-то башню, но теперь ее нет; с балкона виднеется близкое озеро, дальше горизонт темной тучей закрывают леса.

Во дворе шумит мощный дуб — предание говорит, будто его посадила императрица Елизавета; неподалеку на высокой горе находится каменный фундамент: там находилась беседка, в которой Елизавета любила сидеть и любоваться видом на море и окрестности, изобилующие озерами; гора по сей день слывет под ее именем.

Кто был владелец Пленена в ее дни — мне не удалось узнать; местные жители помнят только баронов Корфов — отца нынешнего владельца, г. Э. Гиля. Но внимание, с которым относились к каждому слову Елизаветы, сохранилось в памяти людей и рассказывают, что однажды она выразила сожаление, что из дома не видно моря.

На другое утро, когда она вышла на террасу — перед ней синело море: в одну ночь в лесу была сделана широкая просека в три версты длиной.

Есть основание предполагать, что Елизавета Петровна проживала в Пленене не вполне добровольно и еще в бытность свою цесаревной: суровая императрица Анна Иоанновна остерегалась оставлять без надзора свою опасную кухню в Петербурге и во время своих отлучек из столицы предпочитала иметь ее поблизости от себя.

В трех верстах от Пленена, за песчаными дюнами, ухоронился на берегу моря маленький рыбацкий поселок — Пленцен. Впечатление он производит странное: между почернелыми хибарками разбросаны сизые деревянные помещицьи дома с белыми колоннами; на всполье, за деревушкой,

видны какие-то многочисленные строения — все почерневшее от времени, полуразрушенное, без дверей, без окон... это жалкие остатки плененского курорта, именовавшегося «баронским».

Отцы местных старожилов помнили, как по песчаным, пустынным теперь лесным дорогам к морю тянулись громадные дормезы, запряженные четвериками и шестериками с лакеями на запятках; в мертвых теперь домах размещались приезжие, на пляже и в саду гремели собственные оркестры музыки, танцевали и забавлялись нарядные гости.

Теперь только ветер шумит вдоль этих дорог и в домах с выбитыми окнами...

В «замке» ничего из обстановки не сохранилось; уцелели только названия некоторых комнат — классная, боскетная... большой зал пуст совершенно; во многих комнатах протекают потолки.

Существует предание, будто где-то в земле под полом или в какой-то из стен таится огромный клад; в числе драгоценностей его называют множество платиновых монет.

Платиновые монеты в три, шесть и двенадцать рублей чеканились на Руси во дни императора Николая I с 1828 по 1845 год и известны немногим, и упоминание о них легендой является косвенным свидетельством в ее пользу.

Как полагается, клад охраняет привидение, блуждающее по дому в халате и в туфлях; зарыт или замурован клад был, по словам той же легенды, во время чумы.

Вдоль всего дома тянутся две анфилады комнат. Они заставляют вспоминать и думать.

Сквозь качающуюся листву кленов со стороны двора глядит солнце — будто чьи-то тени то появляются, то исчезают в отдалении; в доме нет ни души, кроме меня с женой...

В гостиной стоит у стены старинное фортепьяно. Если тронешь пожелтевшую клавишу, звенящий стон, не то зов, жалобно пронизывает комнаты...

Посередине всего дома проходит просторный и сумрачный коридор с кирпичным полом.

Любезный и гостеприимный владелец имения, г. Э. Гиль, доставил нас в него, вселил и в тот же вечер укатил обратно в Ригу, а я с женой на целый месяц превратились в самых настоящих Робинзонов, отрезанных от всего мира.

По ночам слышались шорохи; чуть позванивала стеклянная посуда — будто чьи-то руки осторожно касались стаканов-баккара; в дождь протекала во многих комнатах крыша; щелкали об пол просачивавшиеся капли. В глубокой темноте за окнами шумели липы и яблони. Спали мы с револьверами под подушкой, но зато как хорошо работалось и думалось в таком уединении!

А через месяц старый дом ожил и зашумел по-былому: приехала семья владельца, потом семья наших друзей, всюду раздался говор и смех, под руками Галочки Зенец по вечерам стал старчески петь серенады Шуберта дряхлый рояль...

Три месяца безвыездно провели мы в Пленене, и за это время я закончил большой исторический роман из жизни средневековья.

А сейчас, находясь уже в Риге, пишу эти строки и будто въявь вижу глухую песчаную дорогу в бору, тяжелый старинный дормез, запряженный вороным восьмериком с двумя форейторами на переднем уносе, и плененский дом, следящий за ним с высоты бугра.

В ГОСТЯХ У МЕРТВЕЦОВ

(Из литовских впечатлений)

Воздух прошлого. — Погребок в застенке. — Рыцарское гнездо. —
Погоня за автобусом.

От Юрбурга до Клайпеды — недавнего Мемеля — почти целый день езды. По сторонам парохода, а затем железной дороги раскидываются однообразные зеленые равнины, единственной достопримечательностью которых являются громадные стада великолепных черноногих коров; иной расцветки мы не видали ни единой. Шоссированные дороги обсажены березами, строения, пашни — все щеголяло порядком, чистотой и тщательной обработкой. Клайпеда как город не интересен; она служила нам только этапом по пути в главные гнезда рыцарей-меченосцев — в Кенигсберг и Мариенбург.

В свежее, солнечное утро мы выехали из нее с первым пароходом; он шел, рассыпая на синь моря жемчуга и серебро; от Балтики нас отделял чудовищный, разлегшийся от горизонта до горизонта, желтый змей Горыныч — совершенно обнаженная высокая песчаная дюна; мы шли близ берега вдоль настоящей Сахары, лишенной даже травинки. Легкий ветерок, тянувший с моря, струйками сдувал песок с гребня дюны — она вся курилась сотнями низких дымок; в части этой косы, засаженной во второй половине ее лесом, устроена, кажется, единственная в Европе, станция для отдыха перелетных птиц и питомник, где разводятся исчезающие виды диких животных — олени, лоси и т. п.

Часов в шесть дня, после пересадки на железную дорогу, мы были в Кенигсберге, одном из самых интересных городов Германии. Расположен он на холмах и изрезан каналами: на самом высоком месте, словно на страже, стоит древний замок; куда ни оглянись — везде видишь памятники ста-

рины, статуи замечательных людей, заботу о прошлом, чистоту и порядок в настоящем.

Вырос замок на земле древних пруссов-литовцев в 1225 году; возвел его орден рыцарей-меченосцев — заклятых врагов Ливонии и Литвы. Грюнвальдская битва сокрушила мощь Ордена и с 1530 года Кенигсберг становится достоянием и местом жительства королей. Начиная с Фридриха Первого все прусские венценосцы короновались в нем; в нем же в 1871 году был провозглашен акт о слиянии всех немецких государств в единую Германскую империю.

Неподалеку и ниже замка стоит величавый готический собор — усыпальница гроссмейстеров Ордена; снаружи, у стены собора, под охраной каменной сени и железной решетки лежит мраморная плита со скромной надписью — «Эммануил Кант».

Длинный, узкий двор упирается в старинное двухэтажное строение с большими, квадратными окнами; оно прижимается к другому, совершенно такому же. Со стены первого на собор и на посетителя смотрит каменный медальон, изображающий дородного мужчину в средневековом одеянии; над входом во второй сквозь зелень деревьев виднеется расписанная золотом надпись. Эти скромные домики — первый по времени основания германский университет, давший стране немало замечательных людей; теперь там помещается какая-то школа. Университет давно ушел на простор, на зеленую лужайку, в парк, в другое обширное здание; фронтон его сплошь состоит из белых арок и колонн, тянущихся в два яруса.

Собор, или, по-местному — «Дoom» полон реликвий. Там прошлое претворилось в открытые склепы, в гробы рыцарей, в резьбу из черного дуба, в памятники и надписи на стенах, в граненые своды. А кругом собора по тесным улочкам зажались древние дома с высокими крышами и маленькими окошками.

Из замка открываются виды на город; каналы его полны судов разных размеров и чудится, будто еще не миновали времена Ганзы и сотни кораблей грузят товары для отправки их в Господин Великий Новгород. Замок сторо-

жит бронзовая фигура в мантии первого императора объединенной Германии, Вильгельма Первого.

Полон старины и воспоминаний и замок. Он выстроен в виде громадного квадрата с желтой пустыней вместо двора и с двумя воротами, расположенными друг против друга. Близ одних имеется вход в подвалы «Блют-герихт», служившие тюрьмами и застенком, где производились пытки.

Каменные ступени свели нас... в винный погребок, в который время превратило царство страданий и смерти; слева и справа и наискосок от нас уходили в темень и глубь извилистые подземные коридоры, освещенные электрическими лампочками; стен видно не было: их закрывали накатанные друг на друга бочки разных величин и бесконечные полки, из-за черных решеток которых выглядывали тысячи бутылок вин разных сортов и возрастов.

Прежние камеры для заключенных превратились в укромные уголки, где весело проводят время парочки и целые компании. В одной из более значительных тюрем, тоже обставленной бочками, за длиннейшим столом сидела большая компания студентов-корпорантов в цветных шапочках; стол перед ними был уставлен шеренгами опустошенных бутылок. Убирать их до окончания пирушки не полагается и чем безмернее выпито корпорацией вина, тем больше ей славы. В том же погребеке имеется и отличный буфет, где можно получить какую угодно закуску. Студенты пели песни и чокались; воздух был пропитан густым духом вина; в закоулках — камерах для одиночек — целовались парочки... все в конце концов мимолетно на свете!

Трое суток провели мы в Кенигсберге, знакомясь с его достопримечательностями; к числу их отношу и изделия из марципана; Кенигсберг не только родина его, но и главный кондитер по этой части для всей Германии.

Следующая остановка наша была Мариенбург — главный оплот Ордена меченосцев, куда стекались рыцари со всей Европы и откуда потом они распределялись по ливонским замкам или изливались крестоносными полчищами на Литву, стойко отстаивавшую своих богов и каждый клочок родной земли.

Зеленая равнина... На невысоком холме взъерошенным гнездом цвета запекшейся крови тесно жмутся друг к другу островерхие башни, иззубренные стены, узкие дворики, громады многоярусных зданий с высочайшими крутыми черепичными кровлями; глубокий и широкий ров окаймляет стены: толщина их такова, что внешние разбить возможно было бы только современными пушками: сокровища, хранившиеся в замке, были достойны такой охраны!

С крещением Литвы существование Ордена потеряло смысл и приток средств и рыцарей начал иссякать; замок стал приходить в запустение, кровли провалились, рамы и двери исчезли... Только совы да ветры обходили дозором мертвые залы и башни. Вильгельм Второй вспомнил о замке предков и приказал воскресить его во всех подробностях. Суровый замок восстал из праха перед Великой войной.

Подъемный мост на цепях впускает путника в ворота и он останавливается на небольшом дворе, заключенном в квадрат из высоких строений. Все в порядке, все на местах, но все безмолвствует; из множества окон не выглядывает ни единого лица.

В наружную стену одной из башен вделана несоразмерно вытянутая во всю вышину ее узкая, аляповатая, ярко раскрашенная статуя Божьей Матери — покровительницы Мариенбурга, более походящая на египетскую мумию... Вступаешь в главное здание — охватывает холодом и пустыней: старина знала только камины, топившиеся денно и ночно гигантскими пнями... теперь в этих каминах не чернеет ни уголька...

На стенах кое-где заметны следы живописи. Ступаешь тихо, но эхо звучно отзывается от сводов, от стен передает дальше весть о приходе живых людей... Мимо тянутся одна за другой залы конвента, палаты гроссмейстера, каплицы, громадные столовые, дортуары, чудовищные кухни, десятки всевозможных помещений... нет только тех, для которых все это было выстроено.

В лунную ночь замок превращается в жилище колдунов. Черными, загадочными углами и зубцами рисуются на синем небе необычайные строения; тускло светятся многочисленные окна; иногда их закрывают чьи-то тени, быть может, от плывущих мимо белых облаков... там, как говорят легенды, творится своя, иная жизнь. У ворот, в двухэтажном здании, помещается музей из предметов, найденных в земле при восстановлении замка или относящихся к его истории. Там из витрин глядит множество всякого оружия, орудий пыток и прочего обихода средних веков. Но главное не в нем, главное в отряде конных рыцарей-меченосцев, устремляющихся на входящего с копьями наперевес. И кони и всадники закованы в железо с головы до ног и жизненность видению придана полная.

Такую же картину можно увидеть и в Лондоне, в Тауэре. Но там свои, английские крестоносцы и строй несущихся в атаку рыцарей огромен; там служители ходят в древних одеждах и шляпах; там нет путаницы прошлого с настоящим.

* * *

Поздним вечером скорый поезд унес нас в Кенигсберг, а на следующий день мы стояли у таможенного прилавка в Погегене и ждали досмотра своих немногочисленных вещей.

Чтобы попасть в Юрбург, нам нужно было сделать в автобусе около ста километров и любезный таможенный чиновник, чтобы не задержать нас к сроку отхода его, быстро выполнил все формальности и нас пропустили одними из первых. Тем не менее, нас ждало разочарование: когда мы вышли с носильщиком на подъезд, около него стояли несколько автомобилей, но автобуса не было и следа. Оказалось, что по расписанию отход его назначен на пять минут позже прихода поезда, и когда настает срок, кондуктор с немецкой аккуратностью двигается в путь, не обращая вни-

мания на публику.

Что было делать? Погеген даже не местечко, а несколько домиков среди леса и остаться в нем ночевать было негде. Машина отошла всего минут десять-пятнадцать назад и один из шоферов предложил попытаться нагнать ее — за это он потребовал тридцать литов; если же затея не удалась бы — за перегон до Юрбурга он назначил семьдесят литов.

Раздумывать было нечего и автомобиль заревел, застучал и как бешеный ринулся вперед по шоссированной дороге; нас кидало и мотало, позади неслась настоящая дымовая завеса, поворот мелькал за поворотом — автобуса видно не было. Мы мчались сломя голову так, как носятся на кинематографических фильмах всякие Гарри Пилли в погонях за удирающими разбойниками.

Минут через двадцать шофер оглянулся на нас.

— Видать!.. — коротко, с удовольствием сказал он.

К нашему счастью оказалось, что автобус остановился около одной из своих станций и «выжидал минуты». Мы расплатились со своим энергичным молодцом-шофером и пересели в почти пустой автобус.

В сумерки показались из-за леса красные колокольни костела: перед нами был Юрбург.

ЗАМОК С ПРИВИДЕНИЯМИ

(Из литовских впечатлений)

Рауданский замок. — Место смерти Гедимины. — Замок Тышкевичей. — Праздник в парке. — Отъезд в Ковно.

Пароход наш дал три гудка — знак, что на борту имеются приезжие, и от берегов отмели отделилась черная лодка. Пароход застопорил; при помощи матросов мы спустились в нее, и красные лопасти колес шумно завертелись и забурили в воде. Минут через пять мы стояли уже на берегу почти под самой горой, с которой глядел на нас замок.

Не знаю, каким чудом, но около нас почти немедленно, как из-под земли вынырнула пара вороных коней, запряженных в рессорную бричку — их по пароходному свистку высылают из замка. Минут через десять лошади не без труда одолели крутой подъем, и перед нами развернулся обширный, посыпанный песком двор; на нем возвышался длинный двухэтажный замок, имевший вид растянутой буквы «п». Бричка наша обогнула златоглавую православную церковь, прижавшуюся к самому замку, и остановилась у парадного подъезда с каменными гербами над ним; против него, за полосой разбороненного гравия, раскидывался цветник, дальше начинался парк; все кругом было в таком безукоризненном и не казарменном порядке, какой мы видели только в Англии.

Навстречу нам выскочила прислуга в белом чепчике и таком же передничке; за нею показалась приветливо улыбающаяся владелица имения, Ольга Викторовна. Немедленно нас отвели в назначенные нам комнаты — кстати сказать, их в замке 64 и притом таких размеров, что из любой вышло бы по 4 современных квартиры. Наши оказались в нижнем этаже; окна смотрели на цветник и парк. На письменном столе в одной из них стоял чудесный букет из розовых

пионов; в соседней комнате на белом умывальном столе ожидали кувшины с горячей и холодной водой: все сколько-нибудь нужное для приезжих было предусмотрено до мелочей. Только тот, кто подобно нам, вот уже 12 лет бродит по свету среди чужих людей, может вполне оценить такую заботливость и гостеприимство.

Второе, что бросилось нам в глаза, были стены: толщина их необычайна, и нет ничего удивительного, что замок претерпел все свои невзгоды и через семь веков житейских бурь обещает простоять еще двадцать.

После кофе Ольга Викторовна повела нас осматривать замок и парк. Последний раскинулся на 30 десятинах; полутемные, даже в солнечный день, аллеи его так широки, что на них легко могут разминуться две тройки; широкогрудые богатыри-дубы и липы обступали нас со всех сторон. Рвов не сохранилось; место их занимают четыре пруда.

В самом замке осматривать нечего — можно только подивиться приволью, с каким жилось в старину. Во время Великой войны замок занимал Гинденбург со своим штабом и после ухода его все, что было сколько-нибудь ценного, было увезено немцами. Уцелели только покрытые резьбой колоссальные шкафы итальянской работы XVI века, вынести которые можно было бы, только разрушив сперва стену; поэтому штыки отбили с дворец только несколько черных головок, должно быть, «на память», и драгоценные вещи уцелели.

Боковой фасад замка выходит на обрыв, над которым возвышается сторожевая башня; у подножия ее манит в свою тень липовая аллея; ниже, на скате горы, виднеется большой бурый камень, имеющий вид плиты; надписи на нем нет, но предание говорит, что на том месте был убит Гедимин.

Поблизости темнеет заросшая мохом каменная скамья; еще дальше поднимают к самому небу беспросветные зеленые тучи вершин такие дубы, что по самому скромному определению им должно быть никак не менее тысячи двухсот и более лет.

Скамья — излюбленное место привидений. Рассказывают, будто в давние годы местная жительница, красавица-литвинка, влюбилась в заклятого врага своей родины, в рыцаря-меченосца, и встречалась с ним по ночам у этой скамьи. Их выследили, отец литвинки проклял ее, и она бродит с тех пор по свету, ожидая избавления от власти чар. Не раз чудилась она людям сидящей под дубом или блуждающей вокруг замка. Случается, в одной из комнат вдруг появляется фосфорическое, светящееся пятно с проступающими неясными чертами чего-то живого; иногда по ночам на Немане показываются движущиеся огни и бывают случаи, когда лодочники принимают их за пароходные и выезжают навстречу, но никого и ничего на реке не оказывается — это странствующие души убитых в боях под Рауданами.

На верх башни теперь подняться нельзя: во время стоянки в Рауданах штаба двое молодых немецких офицеров взойшли на самую верхнюю площадку и каким-то образом свалились на землю и разбились до смерти. Было произведено расследование; выяснилось, что сторонний злой умысел места не имел, и молодые люди погибли, потому что слишком усердно побеседовали с Бахусом. Чтобы не было для других соблазна лазить на башню, а может быть, с целью наказать виновного, внутренняя дубовая лестница была сожжена по приказу штаба. К счастью, благодаря мощности построек огонь на остальную часть их не распространился. Не заставляет ли этот случай вспомнить о ребенке, который бьет то место, на котором он упал?

Подземелья замка высоки и обширны — есть целые залы неизвестного назначения; в одном из них имелся глубокий, теперь засыпанный, колодезь; место его явственно обозначается на земле сырым пятном. При ударах каблук в пол слышится гул, что свидетельствует о каких-то пустотах, может быть, о втором ярусе подземных ходов.

Ольга Викторовна рассказала нам любопытный случай. Еще перед Великой войной ей мучительно захотелось иметь образ святой Варвары. Поиски его были безуспешны, но однажды Ольга Викторовна была в Царском Селе у своей

приятельницы, даже не подозревавшей о розысках гостыи. Та среди разговора вдруг встала, подошла к киоту, достала оттуда образ святой Варвары и сказала: «Возьми... я все эти дни чувствовала какую-то томительную тревогу, и что-то внутри меня требует, чтобы я отдала этот образ тебе!»

Ольга Викторовна вернулась с подарком к себе в Рауданы и от одного из стариков-рабочих случайно узнала, что много лет тому назад, во время ремонта, на наружной башенной стене замка обнаружено было вырубленное из камня раскрашенное изваяние святой Варвары, являвшейся, значит, патронессой Лаудан. Изображена она была как в Мариенбурге Богоматерь, во всю вышину башни. Времена были такие, что подобными находками интересовались мало, и изваяние было управляющим заштукатурено и забелено.

День промелькнул, как на крыльях. А на другое утро приехал невысокий ростом, добродушный и спокойный муж Ольги Викторовны, Иосиф Карлович, бывший ковенский губернский предводитель дворянства.

После раннего обеда были поданы лошади, и мы поехали в сопровождении младшего сына дель Кастро осматривать другой старинный замок, принадлежавший графу Тышкевичу. Находился он в верстах в пяти от Раудан; до рога почти все время идет по горам над Неманом, и виды открываются один другого живописней. Миновали мы чье-то заброшенное имение с полуразвалившимися постройками, затем спустились в глинистый овраг; на дне его посверкивал ручеек, выбивавшийся в виде нескольких ключей прямо из-под горы. Наш молодой спутник указал рукой на лес, поднимающийся по ту сторону.

— Замок! — произнес он.

Лошади дружно взяли на подъем, лес расступился, и нас окружило запустение; простор двора зарос сплошным бурьяном; за ним вытягивался замок, очень напоминавший формой и размерами рауданский, но облупленный, без дверей, без окон, без крыши...

По внутренней, каменной и далеко не безопасной лестнице мы поднялись во второй этаж. Полы в части его были

целы, но вместо потолка на нас смотрели толстые балки да синее небо; осторожно нащупывая каждый шаг ногой, мы продвигались по толстому слою и кучам мусора из одной огромной комнаты в другую. Почти в каждой из них на стенах уцелели следы живописи — фризy в помпейском стиле, панно «охота» и другое; иные картины сохранились недурно и, судя по манере и сюжетам, написаны они были в XVIII веке.

Сам замок много древнее росписи — это если не родной брат, то внук рауданского. Шаг за шагом мы медленно обошли все, что оказалось доступным бескрылым существам, и старались мысленно восстановить пышное минувшее мертвых чертогов. Вид из окон замка на сторону, противоположную двору, неожиданный: там разверзается пропасть, круто обрывающаяся от самого подножия стены и вся заполненная чудовищами-дубами и липами; открывается даль, синее Неман. Тишина сказочная, только жаворонки заливаются в бездне неба. На углах замка и двора хмурятся башни; из их бойниц глядят зеленые ветки деревьев.

Вечером, дома, мы увидели другую сказку. Был какой-то праздник, и по давно заведенному порядку к дель Кастро явились несколько человек деревенской молодежи с просьбой разрешить устроить танцы в парке. Согласие, конечно, было дано, и десяток парней живо расчистил и утрамбовал катком землю на перекрестке двух аллей; развесили бумажные фонарики, флаги и, когда все было готово, пришли приглашать владельцев на танцы.

Наступали сумерки; под сводами аллей висела ночь; красными, синими и зелеными огоньками мутно светились фонари, доносились звуки музыки. Доморощенный деревенский оркестр из пяти человек встретил нас торжественным маршем; мы разместились на сбитой из толстых досок скамье и стали смотреть на происходившее. У входа, украшенного флагами, продавали лимонад и простые конфеты, на площадке десятка два пар с увлечением отмахивали польку; ее сменил вальс; мелькали разноцветные городские кофточки и платья девиц; вид у танцующих был сосредоточен-

ный и строгий – будто они не веселились, а решали какую-то головоломную задачу.

Вокруг площадки теснились зрители, слышались шутки и смех. Мы просидели с час и возвратились домой.

Должен засвидетельствовать, что за месяц пребывания в Литве я нигде и ни разу не слышал ругани и не видел драк: у литовцев нет не только так называемой «словесности», но им вообще чужда брань; наиоскорбительнейшим словом считается «жаба».

Далеко за полночь, лежа в постели, я слышал скрашенную отдалением музыку, и мне грезилось, что не было ни войны, ни революции, что я в Орловской губернии, что у нас бал, что из окон дедовского дома льются в ночь потоки света и мы, не сегодняшние старики, а молодые пары, веселимся и носимся под близкие сердцу звуки вальсов и мазурок.

*

Четверо суток прожили мы у гостеприимных дель Кастро. Отыскалось у нас множество общих знакомых и даже друзей, и разговоры не умолкали. И когда, уезжая из замка на пристань, я обернулся к стоявшим на подъезде дель Кастро и махал им в знак прощания шляпой, мне казалось, что мы покидаем не случайных знакомых, а близких и милых «своих» людей!

Приложения

С. Р. МИНЦЛОВ. ОГНЕННЫЙ ПУТЬ. РОМАН*.

Книгоизд-ство «Восток». Рига, 1930.

Сам страстный археолог, поклонник старины, исследователь древности, Минцлов на этот раз взял темой для своего романа похождения археологов. Это совершенно особый мир людей, влюбленных в таинственность, в неразгаданность, расшифровывающих иероглифы, следы и знаки, оставленные далекими предками. Палеонтологи, геологи и языковеды разными путями идут к одной и той же цели, к разгадке древности, установлению исторической связи давних времен с последующими эпохами, к восстановлению картин давно угасшего, погибшего мира, его происхождения, его жизни.

В романе Минцлова археологи совершают научное путешествие по Сибири, плывут по «мудрой шири величавого Енисея», разбирают странную надпись, оставленную, б. м., «царем царей», стоявшим на «краю», т. е. конце земли, в ту пору, когда черный человек еще ездил среди пальм на санях, запряженных северным оленем — в межледниковую эпоху тропической растительности. Геологический переворот вызвал резкую перемену климата, изменилась картина, и фантастическая для нас жизнь исчезла.

В романе путь археологов лежит на Красноярск, Иркутск и дальше, в пещеры, к старому вулкану, к ледяным пропастям и сооружениям природы. Разумеется, этих фантастических путешественников больше всего привлекают пещеры,

* Речь идет о 4-м изд. романа Минцлова «Царь царей...», в кот. автор изменил заглавие романа. См. эту книгу в нашем издании (Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016). — *Прим. изд.*

надписи, загадки, иероглифы. остатки древних животных, кости, сохранившиеся звери, черепа, замерзший мамонт. Монгольские доисторические надписи ими легко переводятся, часто указывают путь, спасают от грозящей гибели, подсказывают ученые загадки; встает образ великого Айздомайи, покрывшего «бледным камнем Великую Воду», — море, — а «бледный камень» — лед.

В своих розысках археологи встречаются остатки давно вымерших зверей — ихтиозавров, проходят таинственные места, изменяют план поездки, путешествуют без дорог, на лошадях, по узким, глухим тропинкам в густой тайге, среди горных круч, мохнатых елей, кедров, лиственниц, медведей. Потом попадают в подземный коридор, в базальтовые скалы, переходят от изнурительной духоты к здоровой горной свежести, осматривают хаотические береговые глыбы, находят на громадной высоте озерную воду, преодолевают целый ряд трудностей, проваливаются, спасаются, много дней бредут ощупью, путаются в болотах, пока, наконец, при помощи старого каторжника, не находят деревни с двухэтажными избами новгородского типа и потом, наконец, достигают Иркутска, Ангары, Байкала, села Лиственничного, острова Ольхона — длинный путь, полный опасностей, препятствий, неожиданных бед.

Глубокая пропасть до сих пор хранит во льду целого мамонта, очевидно, когда-то сорвавшегося в пропасть и погибшего здесь в снегу. Чувство ужаса сменяется восторгом пред красотой серебряных мхов асбеста, будто вычеканенных изумительной филигранной работой. Открывается подземная река, пещера скрывает кости стегозавра, остатки игуанодона, ряды черепов, следы трицератопса, являясь любопытным и странным музеем, несомненно, созданным сознательной работой древнего человека.

Путешествующие археологи спускаются в недра вулкана — возле готовых упасть стен, томятся от жажды, расслабляющего тепла, подземной духоты, безмолвного мрака, испытывают внезапное землетрясение, проходят чрез бурокрасную пещеру, похожую на храм, оказываются в безвыходном положении, без всякой связи с остальным миром,

пока, наконец. благодаря древней надписи, не находят себе спасения.

Жрец великого Айздомайи, Орус, в своей драгоценной надписи величественно встает, как последнее видение трудных дней пути и тревожит сон, но проходит ночь, загорается рассвет, открывается обратный путь, трудная ученая экскурсия закончена и потревоженное безмолвие пещер снова воцаряется на тысячи лет, — «сон есть жизнь и жизнь есть сон», — таков последний мудрый вывод этого интересного романа. Он написан увлекательно, талантливо; поучительная и волнующая книга.

С. Р. МИНЦЛОВ. ЧЕРНОКНИЖНИК (ТАИНСТВЕННОЕ).

Изд. Дидковского, Рига, 1928.

С. Р. Минцлов — талантливый беллетрист типично реалистической складки, крепко любящий, хорошо знающий и остро чувствующий быт, его корни, дух и запахи*. Минцлова особенно прельщает и притягивает историчность. Он весь на земле, с землей и даже в земле, роясь в ней, как знаток-археолог.

Вообще, он кажется необыкновенно ясным и здоровым повествователем и у него простой, хороший язык, неторопливый темп рассказа, внутренняя авторская уверенность, лексиконное богатство, тоже отражающее его бытовую и историческую осведомленность.

Словом, с первого взгляда представляется писателем без всяких загадок, надломов и, конечно, чуждым мистики.

Но удивительно: рядом с этим здравомыслом, реализмом живет еще и другой Минцлов с его глубокой, редко выражаемой верой в таинственное, в несказанное, в неразгаданное.

Решуь допустить одну догадку.

Очень может быть, что давние и очень страстные увлечения археологией, курганами, орудиями схороненных эпох, их молчаливым наследием, хранящимся в могилах дальних предков, немая, загадочная и в то же время красноречивая старина ему дороги, для него притягательны и над ним

* Четверть века тому назад российская критика для обозначения таких писателей родила такого горбатого и шепелявого уродца, как «бытовик» и, заспиртовав его, держит в сохранности посейчас для оторопелого отпугивания всех имеющих не полтора глухих, а два обыкновенных уха (Прим. авт.).

властны, как ключ, открывающий входы в занавешенный и молчащий мир живых и владычествующих тайн, и Минцлов-археолог — только дополнение, следствие и вывод; за ними стоит мистик.

Следы мистики, ее голоса изредка, но явственно прорываются в его книгах, отдельных главах, в раздумьях над тем, «Чего мы не знаем», в отдельных лицах, в описании чувствований, охватывающих человека в пустыне, в степи, наедине с самим собой, в старых усадьбах, и, наконец, в частом, если не постоянном ощущении какой-то потусторонней, непобедимой силы, распоряжающей насими судьбами, пророчествующими о концах и трагедиях жизни, подстерегающих нас на ее путях.

В свете этого понимания только что вышедшая книжка Минцлова «Чернокнижник» ни в каком случае не является литературно-психологическим сюрпризом. В цепи его наблюдений и переживаний она логичное, законное и даже неустрашимое звено. Не все и не всегда спокойно в книгах Минцлова. Без труда в них слышится и чувствуется тревожность. Она не слишком мучительна, она не создает неврастенических настроений, не расшатывает духовного стержня, но она существует, и если все-таки не побеждает, то потому, что ее носитель не захотел ей уступить, не пожелал сладострастно ее выращивать.

Словом, при несомненной вере в таинственность, при глубокой убежденности в существовании иной, незримой, нездешней силы, Минцлов сумел противостоять этой борьбе, мутящим, волнующим и беспокойным чарам, и в этом сказался еще раз его здоровый инстинкт человека, стоящего на земле.

В сущности, и последняя книжка, — этот «Черкокнижник», — двойственна. Она выдает оба минцловских начала. Предание «Волчонок» — земля, ясность, история, здоровые и сильные души, здесь цветет бодрость и в лице героического Алексея и в лице черноглазой, смуглой красавицы, его жены Маши, спасительницы «свято-русской земли».

Здесь Минцлов — реалист.

Затем начинается Минцлов — мистик, рассказывающий о «черной книжке», о горнах, алхимиках, кипящих жидкостях, исчезновении покойников («Чернокнижник»).

Этот второй Минцлов верит в мистическую душу природы, ее предчувствия бед и несчастий, — знающий, что «реки и деревья перед землетрясением шумят по-особенному», потому что «земля всегда шлет свои предостерегающие радио человеку» («Осеннее»).

Как он сам, его герой Мошинский «верит в потустороннее», в «невидимые существа», слышит «тысячи звуков», видит даже «сцены из жизни других планет» («Кресло Торквемады»)! Для него галлюцинации — реальность и этого не признают только «слепые».

В «Чуде» отомщают мертвые, и скончавшийся отец Иван явился поругателям храма, и они погибли. Великое красноречие и таинственную, губящую и озаряющую силу имеют камни и «опал — камень страданий», но и вообще, «горе, радость, страдания — все чувства я порывы людей превращаются в алмазы, рубины» («Бред»).

Настояний интерес этой книги заключается даже не в ее сюжетах, не в ее литературной форме, а в оригинальной личности автора, редко встречаемом сочетании как бы не мирящихся начал его души, в особом тонком запахе, исходящем всегда от запертых сокровищниц: аромат кипариса, старины, музеев и еле уловимой мистики настороженного сердца.

9 ЛЕТ БЕЖЕНСКИХ СКИТАНИЙ

(Беседа с С. Р. Минцловым)

«На поселении» в Норвегии. — Страна, не знающая ни виз, ни паспортов. — Как сербы отказались раскапывать свою Помпею. — Русская библиотека в прусском книгохранилище. — Назад, на Восток!...

Пути русского беженства, поистине, неисповедимы. Когда слушаешь рассказ переехавшего в Ригу маститого писателя С. Р. Минцлова о том, как на протяжении последних девяти лет беженская судьба бросала его из стороны в сторону, как бы претворяя в жизнь путь, начертанный стихами Игоря Северянина, «из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс»... поражаешься терпению и выносливости человека.

С. Р. Минцлов за 9 лет объездил полмира. После большевического переворота он оказался в Финляндии, где оставаться, однако, не мог. Ликвидировав свое имение, он решил пуститься в дальний путь.

— Куда ехать? — это было безразлично. Он узнает случайно, что Норвегия принимает 300 русских беженцев, записывается в эшелон и попадает в Христианию. Здесь оказывается, что гостеприимство норвежцев сильно смахивает на ссылку на поселение: русским беженцам было предложено расселиться по определенным норвежским деревням, так сказать, на «полном пансионе» у крестьян с платой по 300 крон в месяц с человека.

— За семью из трех человек мне пришлось бы платить 900 крон в месяц, — огромная сумма, на которую я мог позволить себе совершить путешествие по Европе.

С легкостью, с которой С. Р. решил отправиться в Норвегию, он принимает решение покинуть эту страну. Снова встает тот же самый вопрос:

— Куда ехать?

Война еще продолжается. Русским виз не дают никуда. Положение во сто крат худшее, чем теперь.

С. Р. Минцлов решает ехать в единственное из государств, куда ему удастся получить визу — в Испанию. Но как туда попасть? Франция наотрез отказывается дать русскому беженцу даже транзитную визу. К счастью, С. Р. узнает, что есть на свете страна, в которую русских пускают без виз. Немногие, вероятно, и теперь знают, что такой благословенный уголок на земном шаре существует и даже не где-нибудь за тридевять земель, а здесь же, в Зап. Европе. Для въезда в это государство не нужно не только визы, но даже паспорта. Эта страна — Португалия.

И вот, чтобы попасть из Норвегии в Испанию, оказывается необходимым использовать окружной путь — через Португалию. С. Р. Минцлов проводит некоторое время в Испании, затем с транзитной визой пробирается во Францию, где, несмотря на приказ о высылке, проходит курс лечения в Виши, оттуда попадает в Италию. Случайная встреча с одним сербским инженером, убеждающим писателя, что ни в одной стране русским беженцам не живется так хорошо, как в Сербии, нуждающейся в культурных силах, и С. Р. Минцлов отправляется в Белград. Сербия оказалась самой продолжительной «станцией» на беженском пути С. Р.: он получил там место директора русской гимназии в Новом Саду и прожил там 3 года.

— Рассказы о стремлении сербов использовать культурные русские силы, очутившиеся на их территории, правильны лишь отчасти, — говорит С. Р., — труд русских эксплуатируется в Сербии, и квалифицированные работники, которые могли бы быть действительно использованы в полной мере, вынуждены влачить жалкое существование. Сербь как будто нарочно уклоняются от представившегося им случая использовать русские силы.

И в подтверждение своих слов С. Р. Минцлов рассказывает действительно характерную историю. Выдающийся археолог, он обратил внимание сербских властей на богатые возможности, имеющиеся в Нише, где находятся развалины Никейского собора и гробница византийского императора Константина Великого.

— Я предложил свои услуги по организации археологических раскопок в Нише. У вас, сказал я сербам, своя Помпея. Но правительство отказалось отпустить мне средства. Тогда, увлеченный счастливым случаем, представившимся мне, как археологу, я заявил, что готов произвести раскопки на собственный счет.

— Пожалуйста, — ответили мне сербы, — но с тем условием, чтобы все, что вы извлечете, стало собственностью государства.

Я не имел ни средств, ни желания выступать в роли благодетеля сербского королевства и вынужден был, поэтому, от идеи заняться раскопками в Нише отказаться и посвятить себя педагогической работе.

Следующий этап беженского пути С. Р. Минцлова — этап трагический.

Он вынужден продать свою известную всей России историко-этнографическую и археологическую библиотеку. 15.000 томов, собранных на протяжении многих лет с исключительным трудом и любовью, были увезены С. Р. Минцловым в Гельсингфорс для того, чтобы, в конце концов, стать собственностью прусской государственной библиотеки.

— Прежде, чем продать свою книжную сокровищницу, я пытался снести с русскими заграничными литературно-историческими учреждениями. Отклика не было. Я вынужден был продать свою библиотеку одной лейпцигской антикварной фирме, которая немедленно за вдвое большую цену перепродала ее прусской государственной библиотеке. Я, впрочем, не могу жаловаться на такой исход: в берлинском книгохранилище устроена специальная зала моего имени, где собраны эти книги. Туда же передал я и наш семейный архив, содержащий документы за два века.

Последние полтора года С. Р. Минцлов прожил в Париже.

— Не имея возможности заниматься археологией, я посвятил себя литературе. Но усидеть в Париже не мог. Меня неудержимо потянуло назад, на Восток, ближе к России. И я с особым удовольствием переехал теперь в Ригу, с которой у меня связано много теплых воспоминаний далекого прошлого.

ЖИЗНЬ С. Р. МИНЦЛОВА

1870-1933

Почитание вечного. — Страсть деда и отца. — Путешествия. — Годы в Александровском училище. — Интерес к Литве. — Редкостная библиотека и книжная старина. — Литературная работа.

У каждого человека есть две биографии: фактическая и духовная. В большинстве случаев они не совпадают, расходятся, часто оказываются в непримиримой ссоре. Биография Минцлова цельна. Вся она может быть формулирована в двух словах: почитание вечного. Отсюда все: его любовь к старине, его преданность археологии, благоговейная влюбленность в книгу, — неумирающее свидетельство прошлого. Отсюда же и его тайная мистика.

На Минцлове очень ярко сказалась наследственность. Дед его, Рудольф Иванович, или иначе, — Карл Рудольф Минцлов остается незабываемым, как старший хранитель иностранного отдела императорской публичной библиотеки. Там он создал прекрасную по замыслу и силе «Книжную средневековую келью». После него остался ряд научных трудов, работы над историей Смутного времени, перевод летописи Исаака Массы, труды по изучению эпохи Петра Великого.

Страсть деда стала страстью отца. И он тоже копил, сберегал, выискивал и покупал книги, — составил под конец своей жизни огромную библиотеку, — свыше, чем 15 000 томов.

И все эти черты и привязанности перешли к Сергею Рудольфовичу. Примечательно: отец был женат на Анне Яковлевне Бодиско, и сын, Сергей Рудольфович, женился на

Ксении Дмитриевне, тоже Бодиско. Жизнерадостность матери перешла к сыну. Она подмечалась у Минцлова уже на школьной скамье. Кадеты Аракчеевского (Нижегородского) корпуса знали Сережу Минцлова, как веселого товарища, еще больше как страстного читателя.

С этим увлечением у мальчика могла соперничать только другая страсть — путешествия. Вместе с первым таянием снегов кадет Минцлов становился настоящим бродягой, скитаясь по Волге, Оке, в лесах, набираясь впечатлений. Здоровый и сильный, он не знал утомления. Уж тогда вырастала неудержимая страсть к книгам, их собиранию и лелеянию, — лучшего слова не подобрать для обозначения этой ласковой, благоговейной и умирительно-трогательной любви к книге, ее лицу, ее душе, ее костюму, — не только к теме книги, но к ее шрифту, бумаге и переплету.

Окончен кадетский корпус, покинут Нижний Новгород, и Минцлов переходит в московское Александровское училище, — начинается новый период жизни. Преподавали в Александровском училище лучшие профессора Московского университета, — между прочим, историю русской литературы читал Ф. И. Буслаев. Но, по-прежнему, и здесь в Минцлове ширились привязанность и любовь ко всему непосредственному, простому, ко всему перекликающемуся с природой. Душа юноши отвращалась от поз, чуждалась искусственности, надуманности и теоретичности. Отец Минцлова, известный московский адвокат, устраивал у себя «субботники», шли горячие прения, шумные беседы, произносились речи. По субботам в отпуск к отцу приходил и «юнкер роты Его Величества», Сергей Минцлов.

Из кабинета, сплошь заставленного книгами, доносились громкие голоса профессоров, — Веселовского, Янжула, Кареева, адв. Урусова, слышались возбужденные, яростные либеральные призывы. Сергей Минцлов равнодушно внимал, молчал, потом брал своих гостей — александровцев — под руку и уводил к себе в комнату, а там хмурился и, поплотней прикрыв дверь, говорил:

— Все фразы, фразы и фразы.

Офицерскую вакансию Минцлов взял в скромный Уфимский полк, стоящий в Вильне. И тут он остался верен самому себе, своим мечтам и влечениям. Уже тогда его манила Литва, — ее старина, памятники, природа, легенды, ее история и быт. Литва для него была родиной, — там надо искать корни его генеалогического дерева, и Минцлов, в сущности, всю жизнь изучал ее, исколесив край пешком вдоль и поперек.

Потом захотелось поскитаться, увидеть новые места, в он перевелся на Кавказ. Это было в 1892 г. В это же время Минцлов стал понемногу скупать, собирать, составлять свою библиотеку, главным образом, старинные книги, приводить в порядок разрозненные, разбитые, изорванные фолианты. Так началась закладка фундамента будущей обширной и редкостной библиотеки Минцлова. Впоследствии, уже за рубежом, это книгохранилище прибрела государственная прусская библиотека, и отвела целый отдельный зал. Вся дальнейшая жизнь Минцлова есть история библиофильства, — книжного накопления. Чтоб настоящим образом ознакомиться с заслугами Минцлова в этой области, нужно заглянуть в одну редкую книгу, — она напечатана всего только в 50 экземплярах на красном и зеленом картоне, — «Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова (СПБ., 1913)». На соби́рание книжной старины Минцловым были потрачены десятилетия, и он имел право сказать о себе:

— Если высчитать время, проведенное мною за рытьем в книгах по лавкам букинистов и антикваров разных городов, — выйдут целые годы!

Внешнюю жизнь этого человека можно было бы рассказать в немногих строках.

Сначала молодой офицер, очень быстро расставшийся с военной службой, затем таможенный чиновник в бессарабской глуши, потом земский начальник на Урале, наконец, директор коммерческого училища в Петербурге. Годы за рубежом протекали на глазах всех и были отданы почти исключительно беллетристике.

Но нельзя забывать капитального исследования, — «Секретного поручения»: его Минцлов получил от переселен-

ческого управления в 1914 году. Минцлову пришлось отправиться в дальнейшее путешествие для исследования и осмотра Урянхайского края верховой Енисея, огромной страны, площадью больше Швейцарии, — лакомый и ценный кусок, лежавший без владельца и хозяина. Природные богатства, необозримые пастбища, медь и золото, — все жило брошенным и беспризорным под самым боком России.

Тогда Минцлов состоял чиновником особых поручений при м-ве земледелия, но его путешествие должно было носить характер частной инициативы. Вопрос шел о возможности присоединения к России огромного края, и задача, vyplненная книгой Минцлова, громадна по своему значению.

Этот труд по заслугам оценен теперь и за границей, и переведен на немецкий язык.

Во время войны Минцлов, по собственному желанию, перевелся из тыловой киевской дружины в кавказскую армию. Здесь он должен был заняться исследованием трапезондского района и был назначен и. д. начальника округа. Итогом этих работ и явились его книги о Трапезонде. Из брошенных турецких типографий он создал прекрасную русскую и стал издателем и редактором «Трапезондского военного листка».

Все последние годы Минцлова, отданные беллетристике, — романам, повестям, рассказам, — тоже совершенно логично и последовательно вливаются в общее старое русло минцловских трудов и лет, пристрастий и дел. Это — старина, старый быт, умершие исчезнувшие типы, погибшая Русь. В этих книгах ее образы, ее тени, ее отзвучавшие голоса.

Примечания

Все включенные в книгу произведения публикуются по первоизданиям с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии. В оформлении обложки использован рисунок М. Пертса.

Тайна

Впервые в сб. «Неведомое» (Трапезонд: Тип. Штаба Трапезонд. укреп. района, 1917), позднее в газ. *Последние новости* (Париж), 1925, № 1479, 8 февраля. Печатается по газетной публикации.

Парижская публикация рассказа вызвала скандал: около 300 прихожан Русской церкви в Париже подписали обращение к Церковно-приходскому совету, выражая возмущение тем, что «член Церковно-приходского Совета И.П. Демидов <...> до сих пор не счел своим долгом выйти из состава сотрудников газеты, помещающей столь кощунственные антихристианские произведения» и потребовали его ухода из Совета. На заседании совета 19 февр. в защиту «глубоко верующего христианина» Демидова, члена редакции и помощника главного редактора «Последних новостей» П. Н. Милюкова, выступил митрополит Евлогий, указавший, что «само сказание, которое положено в основу “Тайны”, давно уже известно и знакомо не только богословам, но и всякому сколько-нибудь религиозно-философски образованному человеку» (*Последние новости*, № 1482, 22 февраля). Несмотря на это, была принята резолюция об исключении Демидова из состава Совета (против был лишь И. И. Манухин).

Уже в номере «Последних новостей» от 19 февр. появилась статья З. Гишпиус «Аспиранты», в кот. члены Совета обвинялись в использовании «большевистских» методов, «жажде сохранить (или приобрести) полное собственное владение всем и всеми». При этом сам рассказ Минцлова характеризовался ею как вторичный и «неудачный»: «написанный прилично, он неспособен, однако, ни колебать, ни укреплять ничьи умы и ничьи верования <...> и после минцловского рассказа – должное остается на должном, ему подобающем месте: и Христос, и Иуда, и... большевицкие непристойности».

В том же номере газеты было напечатано следующее письмо Минцлова:

«Милостивый Государь,
Г. редактор.

Не откажите в любезности поместить на страницах Вашей уважаемой газеты нижеследующее:

В номере Вашей газеты от 7 февраля <sic> сего года напечатан мой рассказ – «Тайна», давший повод нескольким издающимся в Париже газетам выступить с целым рядом резких статей, направленных против меня и редакции. Основная мысль их та, что своим рассказом я будто бы имел в виду возвеличить и оправдать евангельского Иуду, унижить Иисуса Христа, выставить его бессознательным обманщиком и подорвать исповедуемый всем христианским миром догмат Воскресения, тем самым играя в руку антихристианской пропаганде, которая ныне ведется III Коммунистическим Интернационалом, захватившим нашу родину.

Получив от моих парижских друзей несколько газет с такими статьями в Берлине, куда я лишь недавно прибыл, спешу – отнюдь не в видах какого-то оправдания себя, а в видах восстановления истины, заявить следующее.

Около двадцати лет назад изучение истории церкви навело меня на мысль дать в рассказах цикл любопытнейших легенд разных сект первых веков христианства, весь интерес которого заключается именно в том, что в конечном результате он приводит к утверждению и апофеозу Воскресения Христа. Мрачный рассказ об Иуде – это пролог к циклу – борьба темных сил.

Единственное, в чем я могу упрекнуть себя – это в том, что упустил из вида, что печатается не все, а часть, и не сделал к ней предисловия. Таким образом, г. г. охранители христианства несколько поторопились со своей атакой на меня...

Думается, что с такими выпадами и с бросаньем грязью лицам, считающим себя паладинами Христа, следовало бы быть осторожнее!

Совершенно устраниаясь от оценки и разбора вылитых на меня помоев, я тем не менее считаю своим долгом во всеуслышание заявить для людей, введенных в заблуждение газетными толкованиями и окраской как моей личности, так и моего рассказа – что родина и православие мне бесконечно дороги, что не только в коммунистах, но даже и в кадетах я никогда не состоял и состоять не буду и что решительно все партии – от самой красной до самой черной –

считаю величайшим злом и стягами насилия и признаю только одну партию – Великую Россию.

Прошу все газеты, поместившие заметки о моем рассказе, перепечатать и это письмо.

С. Р. Минцлов».

26 февр. в «Последних новостях» было напечатано коллективное письмо в защиту Демидова, подписанное Н. Бердяевым, Б. Вышеславцевым, З. Гиппиус, А. Куприным, И. Манухиным и Д. Мережковским; в частности, они писали: «Происшедшее должно судить исключительно с религиозной точки зрения, вне всяких политических категорий, так как обвинение в соблазне верующих есть тягчайшее осуждение для христианина. Дух христианства — прежде всего дух свободы. Имея в себе непоколебимую твердыню догмата, христианский дух допускает все степени приближения к себе, все искания, все сомнения, все исследования. Путь же, на который встал Приходской Совет в своей резолюции, есть скользкий и роковой путь, ведущий к искажению христианства». Еще одно письмо было подписано И. Буниным и И. Шмелевым. Несмотря на подобного рода публичные протесты, при повторном рассмотрении вопроса о членстве Демидова на заседании Совета в марте он был оставлен без изменений (*Последние новости*, 1925, № 1496, 11 марта).

В кругах парижской эмигрантской интеллигенции скандал был расценен как имевший явную политическую подоплеку – т. е. как атака «справа» на П. Н. Милюкова.

Чернокнижник

Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)» (Рига: изд. М. Дидковского, 1928).

Осеннее

Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)».

Бред

Впервые: *Либавское русское слово*, 1927, № 247. Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)».

Чудо

Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)».

Кресло Торквемады

Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)».

Хотинская крепость

Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)». Рассказ публиковался в газ. *Либавское русское слово*, 1925, № 105, с подз. «Легенда». На с. 63 знаком <...> отмечено неразборчивое слово в доступной нам копии текста.

Лесные курганы

Публикуется по сб. «Святые озера. Недавнее» (Рига: Сибирское книгоизд., 1927).

Разбойный лог

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1926, № 292, 25 декабря. Рассказ вошел в сб. «Святые озера. Недавнее». Печатается по газетной публ.

Овраги

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1927, № 86, 17 апреля. Рассказ вошел в сб. «Святые озера. Недавнее». Печатается по газетной публ.

Дикий пан

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1933, № 36, 6 февраля. Рассказ вошел в сб. «У камелька (Моя молодость). Годы офицерства» (Рига: изд. автора, 1933). Печатается по газетной публ.

Жар-птица

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1933, № 6, 6 января. Рассказ вошел в сб. «У камелька». Печатается по газетной публ.

Невеста дуба

Публикуется по сб. «У камелька».

Огонек

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1931, № 356, 25 декабря. Рассказ вошел в сб. «У камелька (Моя молодость). Годы офицерства». Печатается по газетной публ.

Гора

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1929, № 356, 25 декабря. Рассказ вошел в сб. «Свистопуп: Юмористические и другие рассказы» (Рига: Воля, 1929). Печатается по газетной публ.

Нежить

Публикуется по сб. «Чернокнижник (Таинственное)».

В стране сказки

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1928, № 307, 11 ноября. Под назв. «В старой Сербии» рассказ вошел в сб. «Свистопуп: Юмористические и другие рассказы».

Рассказы монет

Впервые в сб. «Неведомое» (Трапезонд: Тип. Штаба Трапезонд. укреп. района, 1917), с подзаг. «Нумизматическая фантазия», позднее в газ. *Последние новости* (Париж) и в сб. «Чернокнижник (Таинственное)». Печатается по последней публ.

Монета Рискупорида II

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1930, № 110, 20 апреля. Печатается по газетной публ.

В катакомбах

Впервые: *Последние новости* (Париж), 1926, № 1866, 2 мая, затем в сб. «Святые озера». Недавнее» (с небольшими разночтениями). Печатается по книжной публ.

В газетной публикации очерку, где Минцлов рассказывает о впечатлениях, благодаря которым возникли «Рассказы монет» (см. выше), было предпослано своеобразное авторское предисловие: «В одном из недавних номеров “Последних новостей” был поме-

щен мой рассказ – “Рассказы монет”. Назван он был нумизматической фантазией, но, в действительности – фантазия там совсем отсутствует, да и вообще таковая не существует : мы можем говорить лишь о неведомом.

Единственная фантастика в нем та, что монеты говорят между собой человеческим языком. Делать это они, конечно, не могут, но то, что они говорят по-своему, излучают пережитое, иначе – навевает настроение – в этом сомнений быть не может. <...>

Итак – все, кроме звуков голосов в моем “фантастическом” рассказе – быль. И она кажется мне настолько интересной, что хочу полностью воскресить ее перед читателем. Для этого надо вернуться в прошлое».

Сокращенная нами часть «предисловия» была с незначительными изменениями включена в книжный вариант очерка (вводная часть) и потому не приводится. Отметим, что в газетной публ. очерк завершался ремаркой: «Скажите – что же фантастичнее: жизнь или человеческие измышления?»

Загадочное имение

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1928, № 251, 16 сентября. Печатается по газетной публ.

В гостях у мертвецов

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1930, № 222, 13 августа. Печатается по газетной публ.

Замок с привидениями

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1930, № 226, 17 августа. Печатается по газетной публ.

П. Пильский. С. Р. Минцлов. Огненный путь

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1929, № 327, 25 ноября, под псевд. «Тр.»
Печатается по газетной публ.

Петр Мосевич Пильский (1879-1941) – журналист, прозаик, литературный и театральный критик. Учился в Александровском военном училище, где познакомился с А. Куприным. С 1901 г. печатался в многочисленных петербургских, киевских, одесских, харьковских газетах и журналах. Во время Первой мировой войны капитан артиллерии, был дважды ранен. В 1917 г. редактор (совместно с Куприным) газ. «Свободная Россия» (Петроград). В 1918 г. основатель и директор Первой Всероссийской школы журнализма. После ряда острых антибольшевистских фельетонов был отдан под революционный трибунал, бежал на юг, в 1921 г. через Бессарабию прибыл с румынским паспортом в Эстонию, сотрудничал в газ. «Последние известия» (Ревель) и «Сегодня» (Рига). С 1926 г. в Риге, ведущий литературного отдела газеты «Сегодня». Незадолго до советской оккупации Латвии пережил инсульт, после проведенного сотрудниками НКВД обыска и изъятия архива был фактически парализован. Скончался в своей квартире после начала немецкой оккупации Латвии. При жизни были опубликованы кн. «Роман с театром», «Затуманившийся мир» (1929), роман «Тайна и кровь» (под псевд. П. Хрущов) и др.

П. Пильский. С. Р. Минцлов. Чернокнижник

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1928, № 67, 10 марта, за подписью «П. П.».
Печатается по газетной публ.

Б. Оречкин. 9 лет беженских скитаний

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1926, № 278, 9 декабря, за подписью «Бор. Ор.». Печатается по газетной публ.

Борис Семенович Оречкин (188-1943) – журналист, уроженец Харькова. Работал в «Петербургском курьере» и др. петербург-

ских и московских газетах, писал в «Русском слове», заведовал хроникой в «Русской молве» и информационным отделом утреннего выпуска «Биржевых ведомостей». После революции сотрудничал в газетах Киева и Одессы. В начале 1920 г. эмигрировал, редактировал в Берлине журн. «Русский эмигрант» (1920-1921), совместно с Лери (В. Клопотовским) – «Наш журнал», писал для газ. «Руль» (Берлин), «Последние новости» (Париж) и др. В 1924-25 гг. редактор иллюстрированного еженедельника «Русское эхо». С 1926 г. в Риге; вошел в редколлегию газеты «Сегодня», отвечал за вопросы внешней политики и парламентскую хронику. В 1925-1940 гг. собственный корреспондент «Сегодня» в Литве. В 1943 г. расстрелян в еврейском гетто в Каунасе.

П. Пильский. Жизнь С. Р. Минцлова

Впервые: *Сегодня* (Рига), 1933, № 350, 18 декабря, за подписью «П. П.». Печатается по газетной публ.

Издательство Salamandra P.V.V. выражает глубокую благодарность Александру Степанову за неоценимую помощь в подготовке «Собрания рассказов» С. Р. Минцлова и предоставленные им сканы ряда книг и отдельных произведений писателя.

Оглавление

ТАЙНА

Тайна	7
-------	---

ЧЕРНОКНИЖНИК

Чернокнижник	20
Осеннее	26
Бред	36
Чудо	42
Кресло Торквемады	50
Хотинская крепость	63

РАЗБОЙНЫЙ ЛОГ

Лесные курганы	72
Разбойный лог	82
Овраги	87
Дикий пан	90
Жар-птица	99

Невеста дуба 106

Огонек 112

Гора 119

НЕЖИТЬ

Нежить 127

В стране сказки 133

РАССКАЗЫ МОНЕТ

Рассказы монет 141

Монета Рискупорида II 153

ЗАМОК С ПРИВИДЕНИЯМИ

В катакомбах 158

Загадочное имение 168

В гостях у мертвецов 171

Замок с привидениями 177

ПРИЛОЖЕНИЯ

П. Пильский, С. Р. Минцлов. Огненный путь 184

<i>П. Пильский. С. Р. Минцлов. Чернокнижник</i>	187
<i>Б. Оречкин. 9 лет беженских скитаний</i>	190
<i>П. Пильский. Жизнь С. Р. Минцлова</i>	194
П р и м е ч а н и я	198

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.